

1965



ФАНТАСТИКА



Сканировал и создал книгу - vtaKhankov

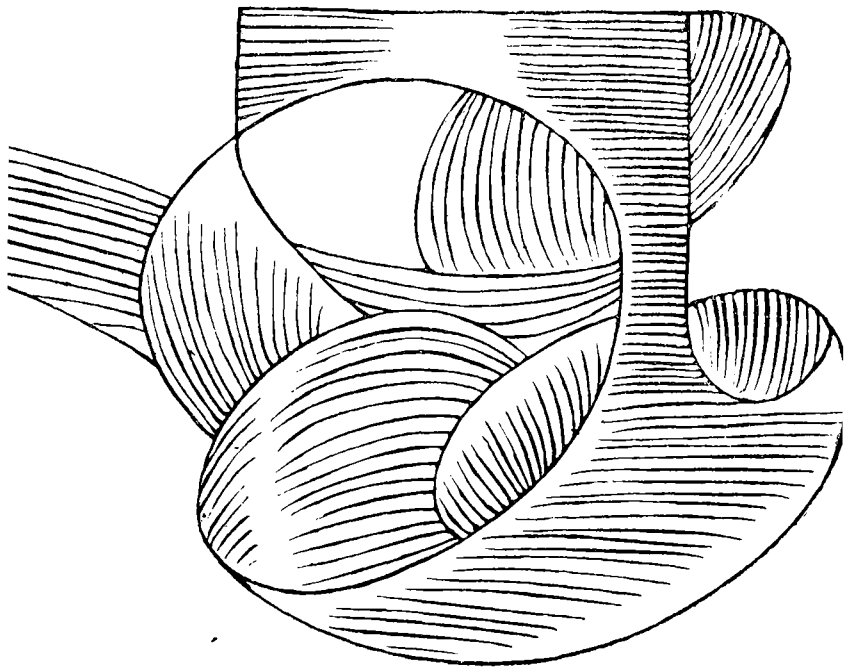


1965

выпуск III

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“. 1965

ФАН



ТАСТИКА

Составитель В. РЕВНЧ

Оформление художника И. СНЕГУРА

Читатель, вероятно, обратил внимание на рубрику «Новые имена» в предыдущих сборниках «Фантастика, 1965». В третьем выпуске «Фантастики, 1965» эту рубрику можно было бы вывести на титульный лист, потому что все наши авторы — дебютанты в фантастике, выступающие с первым или — самое большее — вторым произведением. Это не означает, однако, что они вообще новички в литературе. Напротив, за плечами у каждого многолетний писательский и журналистский опыт.

Поэтическое творчество Риммы Казаковой пользуется широкой и заслуженной известностью, и нам очень приятно видеть имя поэтессы на страницах нашего сборника фантастики, хотя это и будет, возможно, некоторой неожиданностью для читателей.

Наталья Соколова, автор самого крупного произведения в сборнике, повести «Захвати с собой улыбку на дорогу...», — литератор более старшего поколения, чем Римма Казакова. Перу Натальи Соколовой принадлежит несколько книг. Повесть «Захвати с собой улыбку на дорогу...» традиционная, «беляевская» по форме, что вовсе не мешает ей быть сугубо современной, более того — злободневной. Написанная с большим мастерством, повесть отличается и хорошим знанием капиталистического Запада.

Зато остроумная хроника-шутка, почти пародия Натана Эйдельмана «Пра-пра...» сделана весьма своеобразно, ей трудно подыскать близкие параллели. Этот автор выступал в журнале «Знание — сила» и в некоторых других научно-популярных изданиях под псевдонимом Н. Натанов. Его статьи о поисках русских корреспондентов герценовского журнала «Колокол» читаются как увлекательный детектив. То, что Н. Эйдельман — профессиональный историк, читатели без труда поймут по богатству и достоверности фактического материала, собранного в «Пра-пра...».

А вот Михаила Анчарова, пожалуй, можно назвать начинающим писателем. Фантастическая повесть «Сода-солнце» — его третья опубликованное произведение. Две предыдущие повести напечатаны тоже в 1965 году. Михаил Анчаров был участником Отечественной войны, потом стал профессиональным худож-

ником, пробовал свои силы в кинематографе. Его литературный дебют оказался удачным. Повесть «Золотой дождь» и роман «Теория невероятности» были тепло встречены читателями, замечены литературной критикой. Мы надеемся, что и это новое произведение Михаила Анчарова, кстати сказать, связанное общими героями с первыми двумя, встретит добрый отклик.

Пятое произведение сборника принадлежит молодому алма-тинскому прозаику Герману Максимову. Его рассказ тяготеет к жанру научно-фантастической сказки. Несмотря на всю парадоксальность этого словосочетания, такой вид фантастики все увереннее пробивает себе дорогу (к юмористической разновидности этого жанра можно отнести и помещенный здесь рассказ Всеволода Ревича «Штурмовая неделя»). Но если это и сказка, то сказка очень серьезная, философская, даже, пожалуй, трагическая. Как и во всякой сказке, зло в ней наказано, но ошибется тот, кто решит, что зло здесь персонифицировано в талантливом, но несколько педальновидном механике Велте или в сконструированной им машине. Рассказ Германа Максимова направлен против тирании, против фашизма.

Обычно в наших сборниках фантастики публикуются статьи о проблемах фантастической литературы.

Юлий Кагарлицкий уже не впервые выступает с раздумьями о судьбах западной фантастики. Ему принадлежит интереснейшая книга о Герберте Уэллсе. В нашем выпуске Юлий Кагарлицкий делится с читателями своими мыслями о Свифте-фантасте, о Свифте — великом провидце развития человеческой мысли, прогресса.

Видимо, сборник можно упрекнуть в том, что в нем почти не представлены действительно молодые, вступающие в литературу фантасты, растущая смена ведущим мастерам. Так уж получилось. Будем надеяться, что эта недоработка компенсируется в последующих выпусках.

Итак, слово новому пополнению семьи советских фантастов!

Захвати с собой улыбку на дорогу...

*Если я не за себя, то кто же за меня?
Но если я только для себя — тогда
зачем я?*

*(Надпись на старом
могильном камне)*

1. ЧЕЛОВЕК И ЗВЕРЬ

Человек создал Зверя.

Зверь был из металла. Его так и звали: Железный Зверь. Хотя на самом деле Зверь, конечно, был вовсе не из простого железа — на изготовление его костяка пошло 53 различных сплава, в том числе: пермендюр (с высокой намагниченностью насыщения), перминавр (с постоянной магнитной проницаемостью), сендаст или альсифер (этот сплав хрупок, не прокатывается в лист, применяется в виде литых деталей), викэллой, хромаль (жароупорнее фехралья), а также сплавы кунифе и кунико и многие другие, которые вы можете найти во всех энциклопедиях мира и, в частности, в Большой Советской Энциклопедии (том 40, стр. 318—321).

По металлическим трубкам внутри Зверя текла искусственно созданная синтетическая жидкость, по составу близкая к составу крови, теплая, ярко-зеленого цвета, которая двигалась по замкнутому кругу. Чтобы поддерживать жизнедеятельность Зверя, его надо было кормить сырым мясом.

Вы скажете — такого не бывает. Не торопитесь судить.

Я ведь честно предупредила — эта повесть немного сказочная. А в сказках чего только не бывает?

Дело происходило в... Ну, как бы вам сказать, где? Говорят — в «некотором царстве, в некотором государстве». Но я скажу точнее: дело происходило в Европе. Европа — одна из частей света; составляет западную часть единого материка Европы и Азии. Расположена в центре материкового полушария, почти целиком в умеренном поясе (южные окраины — в субтропиках, северные — в субарктике, некоторые острова — в Арктике). Географические координаты крайних точек Европы: на Севере — $71^{\circ} 08'$ северной широты (мыс Нордкин на Скандинавском полуострове), на Юге — $35^{\circ} 59' 50''$ северной широты (мыс Тарифа на Пиренейском полуострове у Гибралтарского пролива), на Западе — $9^{\circ} 34'$ западной долготы (мыс Рока на Пиренейском полуострове), на Востоке — 67° восточной долготы (полярный Урал). Название «Европа» происходит от финикийского слова «ереб» или «ириб», что значит — заход солнца.

Человек, который придумал, рассчитал и вычертил Железного Зверя, жил в большом промышленном городе, на берегу широкого, спокойного серо-стального залива. Это был известный конструктор. Его кабинет находился на тринадцатом этаже узкого, похожего на обелиск, сплошь стеклянного дома, который называли Дом-Игла, — тут он работал, тут и жил. В нижних этажах дома и под землей располагались мастерские, день и ночь работали станки, и дом мелко, равномерно дрожал от их непрекращающегося, как бы застывшего на одной ноте глухого гула.

Рядом с Домом-Иглой помещался ангар Зверя, обнесенный высокой стеной, спрятанный от посторонних глаз.

Улица, где стоял Дом-Игла, круто спускалась к порту, заканчиваясь ступенями каменной лестницы, и с тринадцатого этажа были хорошо видны доки, громады складов и элеваторов, уходящие вдаль причалы, темные пятна судов на рейде. Суда приходили из Америки, Австралии, из далеских африканских портов со странными короткими названиями: Дакар, Лагос, Дурбан. Резкие ветры дули с моря, они несли насыщенный парами воздух, который при малейшем охлаждении давал облачность, рождал туманы. Часто шли дожди, и тогда толпа внизу на улице покрывалась сплошной броней черных зонтиков. Зонтики, как черепахи, медленно ползли и ползли —

сплошной безостановочный поток черных черепах с мокрыми, лоснящимися спинами.

В городе было много банков, которые могли финансировать все, что угодно, вплоть до полета в соседнюю галактику, и много гигантских заводов, которые могли осуществить все, что угодно: выстроить новое солнце или потушить старое. Завод Машин делал великолепные умные машины-автоматы, которые, говорят, были сообразительнее многих министров (и, несомненно, стоили народу дешевле); а Завод Металлов выпускал качественную и высококачественную сталь, тонкий горяче- и холоднокатаный лист, белую жечь и чушковый чугуны, все прочное, надежное, проверенное, — говорят, надежнее многих лидеров реформистских профсоюзов. В городе было много великих инженеров и много красивых женщин с очень белой кожей, с дымчатыми глазами (в которых словно отразилось здешнее небо, низко нависшее над землей, серое, полное испарений) и с пышными рыжеватыми волосами — да, рыжеватыми, если каприз последней моды не заставлял окрашивать волосы в лиловый цвет или осыпать их серебряной пудрой. Днем город варил сталь, а вечером танцевал. Танцевали везде. На плоских крышах шикарных гостиниц — те, кто побогаче. В полуподвальных кабачках — те, кто победнее. Прямо на площадях, под мелким дождичком — те, у кого нет ни гроша: простоволосые девчонки с развевающимися огненными гривами, в разлетающихся пестро-клетчатых юбках и их кавалеры в бархатных штанах, куртках и беретах, в грубых ботинках на толстой подметке.

И новая песенка, родившаяся где-то на асфальте, — родившаяся только вчера, чтобы завтра умереть, — песенка-однодневка, прилипчивая, как корь, звучала повсюду.

Сегодня — задорная, частая, точно дробь каблучков:

Хоть режь меня,
Хоть ешь меня,
Все равно я на танцы убегу...

А завтра — лирическая, протяжная, словно поцелуй влюбленных на городском бульваре, замедленная:

Пусть ночь подает в серебристых ладонях
Прохладную дольку луны.
А мне не нужны ни чины, ни миллионы,
Ресницы твои мне нужны!

Человек, когда начал создавать Зверя, был молод, он любил бродить до рассвета по улицам родного города, запахи порта тревожили и обжигали его, рассыпчатый женский смех где-то за углом дома отдавался во всем теле. Теперь ему было сорок. Он остался одинок. Зверь поглотил двадцать лет. Железный Зверь 17П (семнадцатая попытка).

У Человека было бледное лицо (он редко бывал на воздухе), спокойное, широколобое, скуластое, и каштановая подстриженная борода, которая курчавилась вокруг его угловато очерченного, квадратного подбородка. Его работа была овеяна тайной. В горде шепотом рассказывали всякие сказки, были-небылицы о его подземных приключениях, об опасностях, которым он подвергался. Его заманивали, как почетного гостя, на банкеты, благотворительные базары. Он улыбался скорее грустно, чем смущенно, когда красивые женщины, которыми славился этот приморский город, сверкая очень белыми плечами, опраивали узел его скромного галстука и наперебой предлагали ему купить фальшивые бумажные розы по невероятно дорогой цене. Он не любил бумажные розы. Он любил формулы и детей — чужих детей, чумазных, веселых, голодных, крикливых, что играли на каменных ступенях, опускающихся к порту, мешая пройти, задевая прохожих.

Он любил чужих детей — своих у него не было.

И еще он любил того, кто лишил его семьи, детей, лишил всего, начисто обокрал. Он любил Железного Зверя 17П (семнадцатая попытка).

Зверь умел ходить под землей, в самой толще земли. Для этого он и был создан. Тело у него было вальковатой формы, веретенообразное, незаметно переходящее в массивную заостренную голову, грузно посаженную на покатых, как у тюленя, плечах. Кожа, толстая, медно-бурая, из сверхпрочных высокомолекулярных соединений, найденных химиками после долгих неудач, неплотно прилегала к туловищу, висела складками. Маленькие глубоко посаженные глаза наглухо закрывались тяжелыми шторками век; уши, уплощенные, прижатые к телу, прятались в толстых складках кожи.

Разрыхляя породу, перемалывая ее, Зверь уходил в землю и там свободно передвигался, прокладывая для себя каждый раз новую трассу, отгребая землю назад своими передними конечностями, короткими, очень сильными, лопатообразными

ми, вывернутыми наружу, снабженными фрезерными барабанами.

Вы скажете — такого не может быть? И ошибаетесь. Ведь в сказке все возможно! Земля поддавалась, расступалась перед Зверем, перед его натиском и смыкалась опять, как смыкается вода позади пловца.

На груди Зверя была вделана фара — она посылала темный черно-фиолетовый луч, который создавал вибрацию, заставлял породу впереди трескаться, рушиться. Это облегчало Зверю работу — меньшая нагрузка ложилась на лапы-лопаты, на зубья фрез. Мощное стальное сердце Зверя делало от шести-десяти до семидесяти пяти ударов в минуту — совсем как у человека. При напряженной мышечной работе частота сердцебиений возрастала — тоже как у человека.

Зверь проходил решающие испытания. Программа испытаний была рассчитана на три года. Его мало кто видел. Только глухие упоминания о нем изредка проскальзывали в специальных журналах, предназначенных для немногих.

Когда Зверь медленно и неуклюже шел из ангара к стартовой площадке спуска, тяжело передвигая короткие крепкие лапы, больше всего он напоминал, пожалуй, бегемота на суше, только увеличенного во много раз; а когда дремал в своем стойле с выключенным клавишным управлением, уронив голову на передние лапы, то походил просто на огромную кучу медно-бурых кож, вымоченных не то в мазуте, не то в солярке, задубевших, покوروبившихся, наваленных кое-как почти до самого стеклянного потолка ангара.

Человек дал ему человеческий голос — Зверь чисто произносил слова, хотя немного замедленно и с каким-то странным металлическим привкусом. Правильно строил фразу — может быть, чересчур правильно; в его репликах чувствовалась тяжеловатая и, пожалуй, печальная серьезность, юмор ему не давался. Он не любил лишних слов, вводных предложений, его ответы простотой своего построения напоминали прописи из детского букваря: «В чашке чай», «Мыло моет руки». Слова иной раз перемежались глубокими, протяжными вздохами — Человек говорил, что это просто особенность конструкций, вздохи носят чисто технический характер, им не надо приписывать эмоционального значения; какое-то там приспособление с мудреным названием набирает свежий воздух или выпускает отработанный — только и всего.

2. НЕСЧАСТЬЕ

Зверя 17П испытывали три года. Несчастье случилось на третьем году, когда испытывались рули поворота при погружении на предельные глубины. Человек, как обычно, сидел один в тесной кабине управления перед пультом с несколькими рядами клавиш. Хотя Зверь шел на очень большой глубине, но ход был легкий, ровный, без рывков — путь лежал через хорошо проходимые породы. Приборы с мелко подрагивающими стрелками показывали, что все идет нормально, все идет как надо. Время от времени Человек нажимал ногой педаль, открывался клапан большого бака-холодильника, и очередной кусок сырого мяса по ленте конвейера уплывал из кабины, чтобы стать пищей Зверя, подкрепить его убывающие силы.

Человек и Зверь находились под землей, на больших глубинах уже свыше сорока часов. Оба начали уставать. Человек ощущал привычную тоску — ему хотелось дневного света, ветра, дождевых капель на лице, хотелось услышать земные звуки, детский смех, шуршание шин по асфальту...

— Пора, пожалуй, и домой. Ты как считаешь? — спросил Человек, наклоняясь к микрофону.

В мембране раздался характерный резкий треск — так всегда включалось голосовое реле. И голос Зверя сказал с обычным металлическим оттенком, твердо, четко, чуть замедленно:

— Программа испытаний выполнена. Ты прав. Пора.

Человек набрал на клавиатуре новую комбинацию. Зверь, задрав нос, круто пошел вверх, пробиваясь поближе к поверхности. Толчок... еще один. Опять! Что такое? Зверь явно вошел в полосу более трудных пород. Откуда они взялись? Световая геокарта утверждала — здесь должны быть мягкие сланцы, местами аргиллиты. А Зверя толкало так, что Человек нашел нужным пристегнуться к креслу ремнями.

— Интрузивные породы? — бросил он в тоне вопроса. — Гранит, диорит?

Щелкнуло голосовое реле.

— Габбро, — тон Зверя был, как всегда, бесстрастным.

Надо сказать, что Зверь обладал большой проходимостью, но, несмотря на помощь фиолетового луча вибрации, не был вездеходным. Существовали сверхтвердые породы, которых

ему следовало всячески избегать. Инструкция, написанная Человеком, черным по белому запрещала прокладывать трассу для Зверя в местах залегания гранита, габбро, гранито-гнейса, магнетитовых кварцитов...

Но здесь ведь должны быть мягкие сланцы! Карта не может врать.

Человек стал проверять показания приборов и, наконец, понял, в чем дело. Прибор по имени Большой Ориентир испортился, по-видимому, около двух часов назад, давал неправильные, фантастические координаты. В результате они отклонились в сторону от заданной трассы, находились теперь в горном районе. Над ними были горы!

Зверь весь содрогался, вгрызаясь в толщу горы, его кидало из стороны в сторону. Он расходовал огромное количество энергии. Увидев на приборе красную черту голода, Человек нажал ногой педаль, но на конвейере не появился очередной кусок мяса. Это еще что такое? Он заглянул в глазок бака-холодильника: на дне не было мяса. Бак опустел.

Черта голода на приборе все больше наливалась краской, густела, из алой стала темно-вишневой. Стала кричащей, угрожающей. Человек повернулся к большому резаку для рубки сырого мяса и положил левую руку на стол разделки, прямо под нож.

Реле резко щелкнуло.

— Не надо, — сказал металлический голос. — Не делай этого.

Человек не двигался.

— Нет прямой необходимости, — медленно отчеканило реле.

Человек убрал руку. Что-то внутри Зверя шумно, протяжно вздохнуло, как будто с облегчением.

Зверь рвался вперед из последних сил. Все кругом вибрировало, сотрясалось, предательски скрипело, слышались выстрелы лопающихся заклепок. Человека несколько раз стукнуло подбородком о пульт с такой силой, что заныли зубы. В смотровых иллюминаторах слева и справа видно было одно и то же — мрачно отсвечивали черные срезы габбро; этой глубинной полнокристаллической породы, угрюмой и упрямой. Ход был медленный, очень медленный, и Человек успевал рассмотреть появляющиеся время от времени на черных стенах узкого, пробитого Зверем коридора свежие ярко-зеленые

пятна, как будто крупные кляксы, которые дымились и тут же на глазах рыжели, словно ржавели. Он понимал, что это значит — даже могучая кожа Зверя не выдерживала, на ней появлялись трещины, царапины, из которых просачивалась и брызгала во все стороны горячая зеленая кровь Зверя.

Зверь, захлебываясь, задыхался. Они почти не продвигались вперед.

Человек закатал рукав выше плеча, положил левую руку под нож. «Надеюсь, что он хорошо отточен», — мелькнула случайная беглая мысль.

— Не делай этого, — крикнуло реле. — Нет еще...

Резак ударил. Человек стиснул свои широкие челюсти, чтобы не закричать. Нож, на счастье, оказался достаточно острым.

— Йод в аптечке налево.

— Сам знаю, — огрызнулся Человек, с ненавистью глядя на реле. — Не учи!

Приборы, черно-белые клавиши управления — все плыло у него перед глазами. Он тяжело привалился к кожаной спинке кресла, стараясь не стонать. Только бы не потерять сознание...

Скорость сразу увеличилась. Казалось, белые трассирующие пули стремительно пересекали иллюминатор — это мелькали светлые кристаллы плагиоклаза, вкрапленные в габбро. Человек, пересиливая слабость, дурноту, потянулся к аптечке, в это время Зверя как следует трянуло, тяжелая приборная доска сорвалась и, качнувшись, углом ударила Человека по голове.

3. ПЕРВЫЙ МИНИСТР

Город встречал их цветами — Человека и Зверя. Зверь шел своим ходом от заставы через деловой центр, неуклюжий, громоздкий, увешанный гирляндами мелких северных роз, которые терялись в глубоких складках его медной, как будто прокаленной кожи, бугристой, панцирной. Рабочие Завода Машин вышли с транспарантом: «Завидуем тем, кто создал Зверя!», — а рабочие Завода Металлов несли на плечах огромные алюминиевые буквы, которые складывались в гордую надпись: «И наш металл пошел на костяк Зверя». Человека

везли в открытой машине, с забинтованной головой; пустой левый рукав был засунут в карман пиджака. С одной стороны сидел глава кабинета, первый министр, с другой — строгая медицинская сестра в накрахмаленной косынке с красным крестом. А розы — настоящие, живые, не бумажные — летели и летели в машину, попадали в лицо, делали больно...

Через десять дней, дав Человеку отлежаться, первый министр приехал на улицу, круто спускающуюся к порту. Приехал с официальным визитом.

Первый министр... Вы недовольны? Вы говорите: «Как же так? Полагается, чтобы в сказке были король и королева». Вы покачиваете головой? Но ведь это не просто сказка, а современная сказка. Королевы не будет совсем, честно предупреждаю, мне просто не до нее. А вместо короля будет первый министр, ничего не поделаешь. Ведь один чудесный писатель уже доказал, что взамен королей отлично идет самая обыкновенная капуста... или, нет, простите, обыкновенные президенты.

Итак, приехал первый министр. Навестил Зверя в его ангаре, осмотрел поле с глубоким котлованом, похожим по форме на кратер вулкана (отсюда уходил и сюда возвращался Зверь), посетил мастерские. Потом поднялся с Человеком в его кабинет на тринадцатом этаже. Первый министр был шахматист, философ и богослов, знаток древних языков, утонченно культурный человек с впалыми щеками и высоким голым лбом, завершающимся глубокими залысинами, с пальцами пианиста и острым, пронзительным, хотя немного утомленным взглядом умных глаз. Его сопровождали секретари, какие-то полковники, разодетые дамы.

— Великолепный механизм, — сказал он о Звере, опускаясь в кресло. — Разрешите курить?

И легким движением кисти отослал сопровождающих. Их оставили вдвоем.

Человек сел на свое обычное место — за письменный стол. Его широкое, твердое, скуластое лицо казалось, пожалуй, простоватым, плебейским рядом с тонко очерченным профилем первого министра.

— Видите ли, Зверя нельзя считать просто механизмом или, положим, биомеханизмом. Конечно, теоретикам предстоит еще сформулировать... осмыслить... — Он правой рукой теребил коротко подстриженную бородку, в которой уже поблески-

вали первые редкие иголки седины. — Но ясно одно: Зверь больше, чем механизм. Он ведь знает страдание и боль. А может быть, именно способность страдать, испытывать боль и делает человека человеком, высшим существом? Ведь только тот, кто знал боль, может понять боль другого. Ведь только тому доступен подвиг, кому есть чего страшиться. Кто уязвим...

Дымки усталости уже не было в глазах первого министра. Он слушал с интересом, закинув ногу на ногу, переплетя на колене свои длинные гибкие пальцы. В них курилась забытая папироса.

— Если я вас правильно понял, — сказал он, не меняя позы, — вы считаете, что способность к самопожертвованию является одним из признаков высшего существа. Определяющим признаком, — уточнил он. — Так ли это? А разве не потребность властвовать, подчинять себе жизнь, ход событий, — он поднял на Человека умные холодные глаза, — разве не способность жертвовать другими во имя поставленной цели...

В дверь постучали.

— Потом, — сказал первый министр, не повышая голоса. Стук прекратился. — Нужно быть честным в духовных вопросах до конца. Нужно научиться дышать разреженным горным воздухом интеллектуальных высот, видеть где-то внизу под собой жалкую суету политиков и наивное себялюбие народов. — Он увлекся, голос его, от природы глухой и тусклый, звучал теперь раскованно, на впалых щеках загорелись пятна румянца. — Мир — арена избранных. Что хорошо? Все, что усиливает чувство власти, волю к власти в человеке с большой буквы, свободном от ребяческих оков так называемой морали. Что дурно? Все, что от слабости. Что опаснее любого разврата, любой скверны? Сострадание ко всем неудачникам, слабым, сбитым с ног жизнью, сострадание к толпе. Вялое, раннехристианское (смотри случай смерти Назарейнина). — Тонкие губы премьера тронула презрительная усмешка. — Или сострадание действенное, активное, опирающееся на порочную теорию равенства, — голос его стал настороженным, — как у коммунистов. Коммунизм практически отрицает отбор, он поддерживает то, что созрело для гибели, для гниения, защищает приговоренных...

Человек, заправив пустой левый рукав в карман пиджака,

вышел из-за стола и встал возле окна. Моросил дождь, внизу, как всегда, сплошным потоком двигались мокрые спины зонтиков — знакомая картина, которую он любил, которая стала такой привычной за эти годы.

Первый министр тоже поднялся и встал рядом с ним.

— Мы с вами над толпой. Вы — князь техники. И я... — В дверь опять постучали, на этот раз более настойчиво. — Да, войдите.

Вошел секретарь и почтительно изогнулся, не решаясь заговорить.

Первый министр продолжал, обращаясь к Человеку, но уже совсем другим голосом, официально и немного утомленно:

— Вы много сделали для родины, для народа. Народ вас благодарит. Вам будет присвоено звание Создателя Зверя и вручен высший орден Пылающего Сердца Христова. Таково решение Государственного Совета, которое я два часа назад с большим удовлетворением скрепил своей подписью. — Он едва заметно наклонил лысеющую голову. — Поздравляю!

И легким движением кисти разрешил секретарю говорить.

— Вы просили напомнить... обед у президента академии Наук и Искусств, — зашелестел секретарь. — В честь Создателя Зверя...

Человек стоял у окна. Расчистилась полоса неба ровного бледно-голубого тона, робкие лучи неяркого осеннего солнца легли пучком вкось, улица вся высветилась, зазолотела. Крыши и зонтики, мокро отсвечивая, казались только что окрашенными, свежо и сильно выделялись на белесоватом туманном фоне. А на душе у Человека было сумрачно, как будто он заглянул в глубокий темный колодезь, где неподвижно стоял круг замшелой зеленой воды, не отражая звезд.

4. УЧЕНИК

Лет восемь назад, когда Зверь только был собран и шла отладка, в мастерских появился ученик слесаря, узкоплечий, вертлявый, гибкий, как канатная плясунья, голодный и неунывающий. Он смотрел на мир невинным, безмятежным взглядом — особенно если перед этим стянул у торговли пару пирожков или у мастера гаечный ключ, который, как извест-

но, тоже можно выменять на что-нибудь съестное. У матери, вдовы грузчика, их было пятеро, он — старший. На улице он заговаривал со всеми встречными, дружески задира л шоферов, любой хорошенькой женщине — будь она цветочница или герцогиня — отпускал скорострельную очередь отборных комплиментов; а если полицейский делал ему замечание, то скалил зубы, точно волчонок, огрызался, как и положено сыну докера и внуку докера, с молоком матери всосавшего ненависть ко всем шпикам, штрейкбрехерам и полициям.

Мальчишка оказался на редкость способным к технике. Вещи его слушались, он, как говорили старики рабочие, знал петушиное слово. Но проказил так отчаянно, что несколько раз его выгоняли — и тут же брали обратно. Приходила мать, грубоватая крепкая женщина, больше привыкшая ругаться, чем плакать, ожидала Человека при выходе на улице, клаясь и божилась, что она проучила этого стервеца, содрала ему всю кожу с задницы, что он будет теперь шелковый, ну, просто ангел, а не мальчик. И Человек, чуть улыбаясь, махал рукой: «Ну, если ангел...»

Когда Зверю отладили и поселили честь по чести в ангар, к нему приставили для ухода и обслуживания двух докторов наук, пятерых кандидатов, не считая энного числа аспирантов, дипломантов и прочего ученого народа. А им в помощь дали ученика слесаря — для черной работы.

Ученые люди мерили Зверю температуру, давление, брали срезы кожи и посылали на анализ, лезли в нутро, что-то там тоже соскребали и измеряли — словом, трудолюбиво и упорно собирали материал для своих научных диссертаций. Доктора, естественно, хотели стать академиками, кандидаты — докторами, аспиранты и дипломанты — кандидатами. Тем временем мальчишка, на свой лад привязавшись к Зверю, старался, как мог, украсить и облегчить его жизнь. Выбирал куски мяса повкуснее, рубил их помельче, именно так, как Зверю нравилось. Особой мягкой шваброй с длинной ручкой ежедневно чистил его кожу, все глубокие складки. Рассказывал Зверю последние городские новости, уличные происшествия, пел очередную новую песенку, под которую в тот вечер танцевали на площадях и бульварах:

Ты без супа? Ну и что ж?
Хлеба в доме не найдешь?

Не такой уж это редкий случай.
Мир не больно-то хорош.
Он на ежика похож,
И достался ежик нам колючий...

И как-то так само собой получилось, что ученик слесаря стал чем-то вроде старшего среди всей этой ученой братии. Он — и только он — снаряжал Зверя в путь, готовил все необходимое, провожал его от ангара до стартовой воронки. Он — и только он — первым встречал Человека и Зверя по возвращении. И сразу кидался осматривать лапы Зверя — не повреждены ли фрезерные барабаны, — вычищать землю, которая иногда забивалась Зверю под веки и причиняла много неудобств. Даже сам Человек пасовал перед авторитетом этого мальчишки, тонкого и гибкого, как хлыст, кусачего, как комар, когда тот врывался к нему в кабинет и орал звонким голосом уличного газетчика, что нарушен рацион Зверя или температура в ангаре упала на один градус ниже нормы.

Все это не мешало ученику слесаря оставаться ленивым, вороватым, нахальным, не мешало ругаться самыми отчаянными портовыми словечками, подстраивать всякие каверзы мастерам, врать напрапалу. Он врал Человеку, который, видя его исключительные способности, сам начал заниматься с ним алгеброй и тригонометрией. Врал, прятался под перевернутыми ящиками, пролезал на животе в щель под воротами. Он врал даже Зверю — кто еще, скажите на милость, решился бы врать Зверю? И Зверь, наклонив громоздкую голову, как наклоняет ее слон к жужжащему комару, собрав складки кожи на лбу, говорил с присущей ему тяжеловатой серьезностью: «Раз твоя мать больна, значит надо уйти раньше. Иди!» После чего ученик слесаря бодро отправлялся играть на асфальте в монетку, или воровать яблоки из сада президента академии, или просто спать где-нибудь в порту на бухте каната.

Сказать по совести, не следовало бы его впускать в сказку, этого вредного мальчишку. Совершенно не за что! Можно было бы найти сколько угодно мальчишек с гораздо лучшими отметками по поведению. Но он не стучался в двери сказки, не просился — он просто вошел. Ну, что тут будешь делать?

Прошло восемь лет. Теперь его тоже звали Учеником — он был любимым учеником Человека, многообещающим пи-

томцем его научной школы. Уличный заморыш вымахал в долговязого молодого человека, узкого, как жердь, с небрежно-расхлябанными и вместе с тем подчеркнуто независимыми манерами, с отменно острым языком и колкой иронической улыбочкой, которая так часто поднимала кверху углы его большого подвижного рта. Он не признавал пиджаков, ходил в свободно висящем длинном джемпере с подкаченными рукавами, из которых высывались его длинные, по-прежнему ловкие руки, с распахнутым воротом рубашки и, конечно, без галстука. Если Ученик стоял, то непременно подпирая стену, развалился; если сидел — то на столе, поджав под себя одно колено, а на другое положив острый подбородок — и именно в такой позе проводил со студентами практикум на тему «Основные расчеты при конструировании теплостовных подземных движущихся систем» в аудитории на восьмом этаже Дома-Иглы. Долговязый молодой руководитель смотрел на студентов удивительно наивными, ясными глазами — особенно после того, как вывел очередную сверхкрамольную формулу или сбросил с пьедестала очередного сверхувесистого кумира, который, будучи глиняным, тут же рассыпался в прах.

Ученик по-прежнему состоял при Зверь. И по-прежнему Зверь говорил своим твердым металлическим голосом, чисто и правильно, как иностранец: «Поскольку дядя заболел, надо тебе уйти сегодня раньше». Ученик имел удивительное, просто катастрофическое количество родственников разных степеней, и все были склонны к внезапным опасным для жизни заболеваниям. «Да, иди», — говорил Зверь и вздыхал. Может быть, потому, что скучал, когда оставался один. А может быть, просто по техническим причинам. И Ученик уходил, насвистывая, сунув руки в карманы брюк и брэнча мелочью.

Теперь он уже не воровал яблок из чужих садов. Но некоторым отцам (а также, по слухам, и мужьям) не мешало шепнуть, чтобы они накрепко запирали все двери и окна. А то как бы птичка не улетела из клетки, когда послышится знакомый свист из глухих садовых зарослей, из густой, сырой, слепившейся листвы... Впрочем, полно, можно ли наглухо, накрепко запереть молодую девушку? Кажется, это даже в сказке невозможно.

Человек любил Ученика. Человек знал цену Ученику. Это была ослепительно яркая, дерзкая звездочка, которой предстояло разгореться и стать звездой первой величины. Но Ученику

не хватало усидчивости, серьезности, основательности. Ах, какие у него были шатучие ноги, у этого длинного парня, какие жадные завидующие глаза по части всяких удовольствий и развлечений, какие загребущие руки и какая луженая глотка! Человек ругал Ученика, как умел, — коротко, скупыми словами, хмурясь, огорченно пожимая плечами. А когда тот ухлыл, Человек чуть улыбался. Молодость, что поделаешь. Годы, когда хочется бродить до рассвета по ночным улицам родного города. Когда запахи порта манят и волнуют, а рассыпчатый женский смех где-то за углом дома отдается во всем теле... Правда, развлечения Ученика, вероятно, носили более осязаемый и конкретный характер, но Человек мерил по себе, исходил из опыта собственной юности.

Когда случилось несчастье, Ученик был первым, кто спустился на парашюте в горный район и среди острых базальтовых пиков и длинных языков каменных осыпей разыскал обессилевшего Зверя. Он бинтовал голову Человека, уложив ее к себе на колени, бережно и ловко кладя витки, и ругался последними словами, бессвязно, но крайне энергично:

— К чертям... сто раз говорил... аварийный запас. Нет, нельзя перегружать! Идиотство. Чистой воды кретинизм! Стариковские капризы! Под землю должен ходить я. Почему вы не пускаете меня под землю? Вам же сто лет в обед, у вас мнозит... сосуды...

Обычной проницательской улыбки не было на его губах, губы кривились, дрожали, и слезы, самые настоящие слезы одна за другой ползли по щекам, скатывались на острый подбородок.

В день триумфа Ученик сам вел Зверя по городу, очень беспокоясь, как он это перенесет (Зверь не был приспособлен для длительных наземных переходов). А через десять дней вместе с учителем и его ближайшими сотрудниками присутствовал на шикарном обеде, который давал в своем особняке президент академии Наук и Искусств, большой любитель хорошей кухни и коллекционных заграничных вин.

На обед приехал первый министр — правда, с опозданием. Строго и элегантно одетый, он сидел недалеко от Человека и, наклонив удлиненную лысеющую голову, говорил со своей соседкой, красивой, сильно оголенной актрисой, о «Весне священной», о жестких политональных гармониях и изысканной оркестровке раннего Стравинского. Она явно ничего не пони-

мала и улыбалась заученной улыбкой, выставляя очень белые плечи и очень белую грудь, чуть прикрытую клочком черного бархата.

После устриц первый министр встал и провозгласил тост.

— Пью за избранных, за соль земли, за аристократию духа. Пью за людей первого ранга — они первенствуют не потому, что хотят этого, а потому, что существуют. Быть вторыми они не вольны.

Президент академии, сохраняя любезную улыбку на лице, поднял брови. Ого! Никогда еще премьер не высказывался с такой откровенностью — пусть даже на закрытом банкете. Надо так понимать, что он переходит в наступление?

— Глубокая трагедия нашего века, — продолжал первый министр, не повышая голоса, оглядывая сидящих умными, холодными глазами, — социальная его трагедия не в том, что существуют неравные права людей. Нет, она в том, что существуют притязания на равные права. Нельзя назначить моего шофера Создателем Зверя, Создателем Зверя надо родиться. — Он поднял высокий узкий бокал, оплетя его тонкую ножку своими узкими гибкими пальцами. — Пью за человека номер один в технике, сумевшего превзойти всех других наших крупнейших...

Чей-то услужливый голос уже подхватил:

— И за человека номер один в политике, сумевшего превзойти...

— Не вижу здесь аналогии, — министр улыбнулся и поднес бокал к губам.

«Да, он переходит в наступление», — подумал президент академии, но на лице его, полном, чисто выбритом, холеном, не отразилось ничего, оно по-прежнему сохраняло то просто-душно-озабоченное, хлопотливое выражение, какое положено хозяину дома, которого больше всего на свете интересует в настоящий момент успех его черепахового супа.

Человек слушал, нагнув голову, теребя правой рукой бородку. Когда министр кончил, он, с минуту помедлив, взял бокал и выпил шампанское. Потом посмотрел в дальний конец стола, туда, где, заслоненный очень белыми плечами женщины, затиснутый массивными золотыми погонами военных из свиты премьера, сидел Ученик. Перед ним стоял нетронутый бокал с шампанским.

Их взгляды встретились.

Выпив шампанское, первый министр вытер губы салфеткой, отбросил ее и сказал еще несколько слов:

— Метеосводки говорят: господствующие ветры в нашей стране дуют с Юго-Запада. Так было в восемнадцатом, девятнадцатом веках, так осталось в двадцатом. Лгут метеосводки! — Голос его стал настороженным. — Ветер дует с Востока — вот уж скоро пятьдесят лет, как это так! Опасный, иссушающий ветер — ветер революции. Он несет тучи пыли... мутит незрелые умы... мешает нам управлять событиями. Наш барометр не может стоять на «ясно», пока дует ветер с Востока. — И закончил: — Не верьте метеосводкам, политические сводки точнее прогнозируют погоду.

Первой начала аплодировать почти голая актриса, красиво подняв глаза к лепному потолку, за ней остальные. И хозяин дома похлопывал одной пухлой ладонью о другую, одобрително кивая головой и не забывая приглядывать, чтобы подавали вина в нужном порядке. Все шло как положено.

Домой они возвращались вдвоем — Ученик и тот, кто его выучил. Шли дальним, кружным путем, по бульварам, что протянулись ломаной линией над портом — Человек сказал, что у него болит голова, хочется пройтись. Низкое серое влажное небо, клубящееся, как дым над битвой, беспокойное, нависало над городом, волочилось брюхом по крышам. Доки и элеваторы внизу были подернуты легким предвечерним туманом, точно их прикрыли полой прозрачного пластикового дождевика; там уже зажигались первые огни.

Ученик стянул с шеи галстук и сунул его в карман плаща.

Небо невдалеке окрасилось розовым — это Завод Металлов выдал очередную плавку. На серых дымящихся тучах рдели теперь нежно-алые пятна, как будто отблески пожара.

Сначала они шли молча. Потом Человек сказал, что премьер дает ему крупную сумму денег для продолжения испытаний и экспериментальных работ — с тем, чтобы преодолеть потолок или, вернее, пол Зверя, значительно понизить предел погружения. Заодно ставилась задача и увеличения скорости.

— Париж стоит мессы. — Человек мельком посмотрел на Ученика, который вышагивал рядом с ним, сунув руки в карманы. — Стоит одного какого-то бокала шампанского, пусть даже с неприятным привкусом.

Ученик молчал. Быстро темнело, и в сумерках трудно было разглядеть его лицо, оно казалось стертым, неразличимым.

— Не судите, да не судимы будете, — сказал Человек устало. — Какою мерою мерите, такую и вам будут мерить. От Матфея, 7,1. Со школьных лет помню. Вбили.

Он остановился, облокотился о парапет. Поднял воротник пиджака — упали первые крупные капли дождя, а его пальто осталось в машине. Внизу одна за другой вспыхивали линии огня, перечеркивая из конца в конец темные причалы.

Ученик дотронулся до его пустого левого рукава. Сказал неожиданно мягко:

— Вы простудитесь, учитель. Так стоять не годится. Возьмите-ка мой плащ.

5. ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ

Все-таки, наверное, Человек простудился в тот вечер. Он температурил, его лихорадило. Начались боли — болела несуществующая левая рука. Врачи рекомендовали постельный режим, покой, тепло. Человек, морщась, пожимая плечами, уступил. Хорошо, он будет лежать на диване в своем кабинете, накрытый пледом, но пусть ему каждые два часа докладывают о ходе работ, пусть ему дадут пишущую машинку, пусть вызовут к нему таких-то...

Однажды вечером заехал его навестить президент академии. Они были давнишними друзьями — нет, пожалуй, приятелями. Вместе учились в школе, потом в университете, вместе мечтали обновить науку, познать непознаваемое и удивить мир. Их объединяла любовь к учителю, рано умершему чудаку и неудачнику, чьи мимоходом брошенные гениальные догадки были подтверждены и разработаны уже после его смерти другими учеными. Раз в год они оба отправлялись на маленькое заросшее кладбище в одном из пригородов и долго сидели молча на ветхой скамейке перед холмиком, обложеным дерном...

Президент, дородный, осанистый, добродушно-самоуверенный, поскрипывая на ходу пластроном белой, туго накрахмаленной рубашки, втиснулся в кабинет Человека и, крикнув, опустился в кресло.

— Разбудил тебя?

Человек печально уснул — с раскрытой книгой на коленях. Спит в сумерки всегда тяжело. Он видел странный сон. Снег, опушка незнакомого леса; идут двое, один впереди — с белой бородой и длинными белыми волосами — прокладывает путь. Идут двое, идти трудно — ветер в лицо, у них котомки, посохи, обтрепанная одежда...

Сон был неприятный, томительный, без начала и конца, без смысла. С чего бы это приснилось такое? Наверное, от температуры.

Президент потрогал пузырьки на столе, открыл и понюхал один из них, поморщился. Мотнул головой в сторону книг и бумаг, которые лежали на стульях, на подоконнике.

— Однако, старик, живешь ты препаршиво. Как последний пес. К чему такой аскетизм? Уют, комфорт — это необходимо, это же подымает работоспособность. Кстати, ты не был, когда я показывал гостям, как перепланировал сад? Жаль. И не видел мой новый гарнитур для белой овальной залы? Только что получил из Англии, подлинный Чиппендейл, такой восемнадцатый век, пальчики оближешь. Сейчас ведь самое модное — возврат к старине. — Он спохватился. — Так как же твое самочувствие, старик? Как с рукой?

Человек, чуть улыбаясь, ответил, что чувствует себя ничего, вполне прилично, к своей новой однорукой жизни начинает уже привыкать, осваиваться, с одной рукой не так страшно, если ты не каменотес и не плотник. К тому же с одной правой рукой.

— Сказать, чтобы тебе дали вина? Наверное, найдется какое-нибудь.

— Вот именно. Какое-нибудь, — фыркнул президент. — Можно хотя бы курить?

— Конечно.

— А ты по-прежнему не куришь? Жизнь без слабостей. И без удовольствий.

У них была в ходу такая вот мелкая перепалка — причем президент нападал, а Человек посмеивался и все больше молчал.

Заговорили о Звере, о последних событиях.

— Какой успех... Завидую тебе, — откровенно признался президент. — Высший орден в стране!

Человек неловко пожал плечами.

— Подожди, твой бесколесный транспорт тоже принесет тебе...

— Так это когда еще будет, — улыбнулся президент с кокетством ученого, знающего себе цену. — Улита едет. А Зверь готовый, уже сделанный.

— Дело ведь не в Звере, — негромко сказал Человек, разглядывая клетки пледа на своих коленях.

— А в чем?

— Дело в расширении возможностей.

— Человека?

— Да, если хочешь. Людей, человечества...

Человечество множится, мужает, накапливает энергию. Надо завоевать ему новые возможности, новые миры. Изменение климата пустынь, северных пространств. Обживание горных вершин. Освоение глубин океана. Выведение колоний на другие планеты...

— И вот еще вклад: подземное царство.

Президент махнул рукой.

— Сказки! Ты же у нас известный сказочник.

— Что ж, пусть сказки. Сказки сбываются. Вспомни сапоги-быстроходы, летающий ковер, Дедала... Нет, ты представляешь, какой это резерв: чрево земли? Все построения Мальтуса и мальтузианцев летят к чертовой... — Он закашлялся. — Ох, эта простуда... Никак не избавлюсь. Поддай-ка, пожалуйста, вон тот шкалик. — Он накапал капли и выпил. — Так вот...

— Нужны ли человечеству новые возможности, — весело спросил президент, — когда оно и старых не может толком осилить?

Он любил подразнить Человека, разбудить, как он шутиливо говорил, в Человеке зверя.

— Нужны! — Человек упрямо нагнул свой широкий лоб. — Возьми продление жизни. Есть некто, ему стукнуло 250 лет. Он умнее любого из нас. Прочитал в четыре раза больше, прожил четыре жизни. Каким он видит мир, как может нарисовать его, описать словом? До какого додумается уравниения за эти долгие 250 лет, до какой технической идеи? Мы этого не знаем, такого еще не было. Нельзя даже предвидеть. Новые невиданные материи сознания... неоткрытые континенты духа...

— Хотел бы я дожить до 250 лет, — прищурился президент. — И чтобы каждые десять лет разводиться и жениться на молоденькой. Невиданные возможности! А сколько вкусной еды можно поглотить за 250 лет...

Человек вдруг рассмеялся как-то совсем по-детски, бесхитростно.

— Ты все тот же, Жадина-говядина, — он назвал его школьным прозвищем.

— И ты все тот же...

Они в общем неплохо относились друг к другу, эти два человека, такие разные, непохожие. Редко с кем Человек уговаривал так охотно и многословно, как с президентом.

— Слава богу, засмеялся, — сказал, отдуваясь, президент. — А я уж думал, ты совсем разучился улыбаться. Вошел, смотрю на тебя: скулы торчат, глаза трагические. С чего бы это?

— С чего? Читаю газеты. — Человек похлопал правой рукой по газетным листам, разбросанным в беспорядке поверх клетчатого пледа. — Не радуют.

— Ты о забастовке?

В городе уж третью неделю бастовали работники порта. Они протестовали против снижения заработной платы.

— Забастовка что... Такие бывали и раньше. А ты читал в вечернем выпуске обращение первого министра?

Президент не успел еще прочитать.

— Уговаривает. А потом угрожает... Хочет вообще запретить забастовки, стачки. Ввести в действие чрезвычайный закон 1873 года.

— Та-ак. — Президент поднял брови. — Но ведь этот закон никогда не применялся. И потом... он рассчитан на период войны. Опасной изнурительной войны. Может быть введен в действие только вместе с лозунгом «Отечество в опасности».

— Захочет — введет без всякой войны. — Человек поднял глаза на президента. — Ты понимаешь, куда оно идет?

— Да. Я понял еще тогда, у меня на обеде... И как же он их уговаривает быть помирнее, докеров? Как все это формулируется?

— О, очень изящно. — Человек зашуршал газетными листами. — В обращении к забастовщикам премьер говорит: «Человек смертен. И ему добиваться здесь, на земле, иных,

лучших условий существования так же странно, как пленнику ковырять гвоздем толстую каменную ограду, когда открыты ворота». — Он стиснул широкие челюсти. — Так-то вот, президент. А ты говоришь — Чиппендейл.

Президент повернулся так резко, что застонали пружины кресла, обнимающего его дородное тело.

— Слушай! Давай говорить, как мужчина с женщиной. И я бы тоже предпочел жить в более свободных и нормальных условиях, в лучше организованном обществе. Но мир не управляется нашими желаниями, он такой, какой он есть. Что ты мне прикажешь делать? Идти на баррикады? А где они? Клеить листовки, написанные от руки, которые прочтут три с половиной идиота? Я погибну зазря, только и всего. Где я принесу больше пользы? В науке. Где ты принесешь больше пользы? В науке. Сгнили в Кайенне тысячи французских революционеров, и мы позабыли их имена. Но живет теорема Карно.

— Лазар Карно, я знаю, — сказал Человек, откидываясь на подушки. — Исчисление бесконечно малых... начало современного анализа...

— Вот видишь. А кто помнит, что этот самый Лазар Карно был членом Конвента, членом Директории, голосовал за казнь Людовика XVI и против тирании Наполеона? Что от этого изменилось? Просто Карно провел большую часть жизни в изгнании. Ей-богу, на это мог пойти и менее благородный человеческий материал.

— Изгнание — это страшно. — Человек потер лоб. — Это, может быть, даже страшнее смерти.

— Ты меня попрекаешь Чиппендейлом, другие — садом, бассейном с черными лебедями. Да, я люблю комфорт. А что, кому-нибудь будет легче, если я этим пожертвую? Мир станет хоть на грош лучше? Наступит народовластие, золотой век Перикла, общее довольство? Если это так, я своими руками передую лебедям.

Человек невесело усмехнулся.

— Пусть пока живут.

— Чем создается реальный прогресс общества, поступательное его движение? Только увеличением суммы знаний, накоплением сведений о вселенной, — уверенно сказал президент. — Молчать, делать свое дело и не думать о бесполезном — вот долг ученого. И да здравствует твой Зверь, твой

великолепный механизм, который ты подарил миру... городу и миру, как говорили римляне.

За мокрыми оконными стеклами жил вечерний город, вспыхивало и гасло пятно какой-то рекламы, отсветы невидимых огней ложились смутными стертыми дорожками на покатые бока крыш. Наверное, внизу ползли, как обычно, зонтики, но, когда лежишь, их не видно. Их можно увидеть только, если стоишь у окна.

Человек вздохнул.

— Механизмы становятся все совершеннее, это так. А вот механизм общественных отношений...

— Не мы в этом виноваты, — президент пожал плечами, — виноваты политики. Не с нас спрос.

— Но чтобы чувствовать себя человеком, — начал Человек, — человеком в полном смысле слова...

— Если уж ты, молчун, стал употреблять громкие слова, — рассердился президент, — значит, молоко века воистину прокисло. Как сказал один старый хороший поэт, главное — это понять необходимость и простить оной в душе своей. Гранитную стену лбом не прошибешь!

Человек кусал ногти правой руки — прежде у него не было этой дурной привычки.

— А смертный приговор? Если тебе придется...

— Ну, уж так и придется.

— А если?

Лицо президента стало хитровато-простодушным, непроницаемым.

— Я человек немолодой, больной... Смотришь, подагра на две-три недели приковала к постели. И никогда нельзя знать заранее... Мой вице-президент, тот с удовольствием подписывает всякую пакость, такое, что через десять лет будет тошно читать. Пускай себе.

Говорить на эту тему больше не хотелось.

— Как твоя дочь? — спросил Человек. — Кончает Университет?

Да, дочь его кончает. Хорошенькая очень. Жаль, слишком серьезно относится к жизни. И к богу. Не надо было, наверное, отдавать ее в закрытый католический пансион. Ничего, замужество все поправит.

— Похоже, она будет работать у тебя в лаборатории, старик. Университет ее рекомендует.

— Возможно, — сказал Человек. — Я беру группу выпускников химического факультета. Дело в том, что кожный покров Зверя...

Неожиданно погас свет. В комнате стало темно. Яркая реклама, которая мигала и дергалась за окном, тоже погасла. Президент подошел к окну.

— Да это, кажется, весь квартал...

— Весь город, — сказал Ученик за его спиной. Он принес подсвечник с зажженными свечами. — Электростанция на один час отключила энергию. Поддерживает требования порта.

— Надо позвонить домой, — забеспокоился президент, который был внимательным мужем и нежным отцом.

— Телефонная на час прекратила работу. Радио тоже.

Наступило молчание.

Лицо Человека, освещенное снизу неровным, колеблющимся светом свечей, скуластое, неподвижное, угловато окаймленное темным бордюром бородки, сейчас и в самом деле напоминало трагическую маску.

— Ты думаешь, он воспользуется... — спросил президент и не докончил.

— Да. Боюсь, что да.

6. РУСАЛКА

Первый министр объявил чрезвычайное положение и восстановил забытый закон 1873 года, запрещающий бастовать. Он ввел в город десантные части, состоящие из наемников, и заменил на улицах полицейских десантниками. Корабли военного флота встали на рейде, нацелив на порт и город круглые, окающие рты орудий. Профсоюз портовых рабочих уступил, и докеры, мрачные, злые, изголодавшиеся, вышли на работу. Администрация порта обещала, что не будет разыскивать и преследовать зачинщиков.

Вы говорите: «Какая же это сказка? Это сплошная политика. И все так мрачно, трагично. Тяжело читать». Что поделишь, современная сказка, сказка двадцатого века читается нелегко. И часто это сказка трагическая...

Человек продолжал экспериментальные работы, но у него началась полоса неудач. Добиться большей глубины погру-

жения Зверя не удавалось. Кожа Зверя лопалась, не выдерживала нагрузки, из трещин сочилась горячая ярко-зеленая кровь, тут же выцветая, застывая длинными ржаво-рыжими потеками. Зверь должен был очень страдать от этих незаживающих кровоточащих трещин, но на все вопросы он отвечал своим ровным металлическим голосом:

— Нет, не больно. Нет, не испытываю боли. Готов к следующему погружению.

Человек ходил вокруг Зверя, кусая ногти, молчаливый, нахмуренный. Держал совет с химиками. Только и слышно было: «Высокополимерные соединения... Политетрафторэтилен... Фенолформальдегидные смолы...»

В группе химиков работала дочь президента академии Наук и Искусств. Ее звали Русалкой. Да в ней и в самом деле было что-то русалочье — пепельные косы, кое-как заплетенные, точно размытые водой, небрежные волнистые пряди, спускающиеся на щеки, на лоб, затуманенные, очень светлые глаза с кротким и каким-то загадочным выражением, как у мадонн Леонардо да Винчи, тонкая гибкая талия, маленькая, еще по-девичьи неразвитая грудь, туго обтянутая темным узким платьем. Да, в ней было что-то русалочье, колдовское и одновременно что-то монашеское. «Слишком всерьез относится к жизни», — мельком вспоминал Человек, когда проходил по лаборатории и видел, как она наклоняется над термостатом, уронив русые размытые косы. Против света в волосах ее все-таки проблескивала та опасная рыжинка, которой славились женщины этого города.

Как видите, я иду на уступки: в моей сказке не будет королевы, но принцесса все-таки будет. Современная принцесса, принцесса-химик. А ввести ее в сказку было, кстати сказать, не так-то легко. Признаться, я очень долго держала двери сказки открытыми, распахнутыми настежь и уговаривала, упрашивала, умоляла Русалку войти. Насилу уломала. Посмотрим, что из этого выйдет.

Ученик, увидев в лаборатории новенькую, не хромую и не горбатую, моложе шестидесяти лет, с ленивой и снисходительной небрежностью приступил к обряду ухаживания. Русалка слушала без улыбки, подняв тонкие полукружия бровей. Потом сказала:

— Простите. Я не люблю флирта при отсутствии серьезных намерений. Пустая трата времени.

Ученик хмыкнул с самодовольным видом, и его длинные руки, высовывающиеся из рукавов джемпера, как-то сами собой потянулись вперед, очень ловко, на манер клешней, приблизились с двух сторон к ее осиной талии.

— Но откуда вы взяли, моя ласточка, что у меня не имеется...

— Я хотела сказать — при отсутствии серьезных намерений с моей стороны. Простите.

Она обогнула его и ушла, а Ученик остался стоять дурак дураком с протянутыми вперед руками.

И еще раз Человек услышал обрывок разговора. Русалка мыла пробирки, а Ученик вертелся вокруг. Она говорила напряженно-серьезным, звенящим голосом:

— Великая религия милосердия, смирения. Религия добра — разве это не лучше религии ненависти?..

— Смирение? Хорошо. Очень хорошо, — поддакнул Ученик со своей ядовитой улыбочкой. — Но только, знаете ли, на сытый желудок.

Пробирка выскользнула из ее пальцев и разбилась о кафельный пол. Она сказала, задыхаясь, прижав кулаки к груди:

— Я вас ненавижу. Ненави-жу.

«Говорила ли мне когда-нибудь женщина: «Ненавижу»? — подумал Человек. — Кажется, нет. Все было гораздо проще, без... без такого накала. Да, собственно, что вообще было?»

— Спасибо. Ненависть лучше равнодушия. — Ученик нагнулся и стал собирать осколки.

Ее передернуло.

— Ничего настоящего... все напускное. Рисовка... И эти обвислые кофты шута... Отчего вы не носите костюмы, нормальные, приличные, как люди носят? Боитесь растерять оригинальность?

Сидя на корточках, свесив до полу длинные руки, он поднял на нее невинные ясные глаза.

— А вам не приходит в голову, моя пчелка, что костюм стоит денег? Что у меня их может не быть, этих занятных золотых кружочков? Что моим драгоценным братцам требуется, как ни странно, утром завтрак, в обед обед, а на завтрак ужин?

Они увидели Человека и оба замолчали. «Ого, как у них быстро развиваются отношения!» — подумал Человек, пряча полуулыбку. И тут же, нахмурясь, приказал Ученику сходить

туда — не знаю куда, срочно принести то — не знаю что. Наука требует дисциплины, послушания.

Зверь как-то сразу признал Русалку. Доступно ли ему было чувство прекрасного? Этот вопрос пока оставался нерешенным, еще ждал своего исследователя. Но так или иначе, они подружились. Когда у Зверя брали срезы кожи на анализ, Русалка очень волновалась: «Пустите! Я сама... Ну, как вы не чувствуете? Ему же больно. Тут трещинка, под складкой». Перед уходом домой она любила заглянуть в стойло к Зверю, посидеть у него хоть десять минут. Для нее Зверь иногда пел песню — единственную, которую он выучил за всю свою жизнь, перенял у Ученика. Щелкало реле, как щелкает не очень хорошо отлаженный лифт, снимаясь с места, и после паузы голос с твердым металлическим привкусом выводил, чуть дребезжа:

Захвати-и с собой улыбку на дорогу...

Русалка сидела, подперев кулаками подбородок, поставив локти на колени, и слушала. Перед ней громоздилась складчатая, бесформенная туша Зверя, заполняя стойло. Песенка была тягучая, грустноватая. Он потерял работу. Его предали и осмеяли друзья. Ему изменила любимая. Что теперь делать? И вот он уходит из родного города, уходит куда глаза глядят, оставив позади все, чем дорожил, к чему был привязан. Уходит навсегда.

Не накладывай в котомку слишком много.

Ведь не день,

и не два,

и не три —

вечность целую иди.

Захвати с собой улыбку на дорогу.

Ведь не раз,

и не два,

и не три

затоскуешь ты в пути!

Песенку эту никто уже не пел. Ее забыли. Она была в моде год или полтора назад, и то недолго. Но Зверь не подчинялся моде. Его привязанности были тяжеловесны и устойчивы. С этим приходилось считаться.

Всю зиму бились и, наконец, к лету все-таки преодолели барьер глубины — Зверь опустился на тысячу метров ниже контрольной отметки и пробыл на этом горизонте восемь часов, не испытывая особых затруднений. Вел его сам Человек —

он сделал для себя кое-какие специальные приспособления и с их помощью без левой руки справлялся с клавиатурой пульта.

Пока Ученик в комнате отдыха отстегивал кнопки и пряжки на алом комбинезоне Человека, раздергивал молнии, тот успел коротко, точно рассказать о показателях сегодняшней проходки. Потом взгляделся повнимательнее в лицо Ученика.

— Что с тобой?

Ученик, чуть помявшись, протянул ему газету. Арестованы зачинщики забастовки в порту. Предстоит процесс восьмидесяти. Судить их будет военный трибунал. Они содержатся в крепости на одном из Проклятых островов, издавна служивших местом заключения особо важных государственных преступников.

— Газета вчерашняя, — сказал Человек, теребя бородку.

— Да.

Значит, не показали, потому что не хотели волновать перед ответственным погружением. Что ж, он, пожалуй, поступил бы так же.

В списке арестованных был один из братьев Ученика. Это Человек обнаружил уже дома, перечитывая список.

Совет профсоюзов выразил протест против ареста восьмидесяти. Письма в их защиту прислали многие деятели науки и культуры. В ответ на это первый министр дал приказ разогнать мирную уличную демонстрацию студентов и Национального Союза передовых женщин — «по возможности без применения оружия». Когда из толпы раздалась выкрики: «Долой произвол», «Долой тирана» (вероятно, это была провокация), — десантники разломали ограду парка, потеснили толпу большими квадратами чугунной решетки, загнали в метро, а потом кидали сверху эти квадраты на головы тесно прижатых, стиснутых в узком пространстве людей...

В этот час Человек со Зверем были на стартовом поле на дне воронки. Было решено изменить технологию спуска, и Зверь репетировал новый вариант, а Человек с помощью приборов контролировал угол погружения.

Неожиданно раздался резкий треск реле и Зверь сказал, как всегда, точно и бесстрастно:

— Происходит что-то отвратительное.

— Ты о чем это? — не понял Человек.

Зверь повторил слово в слово то же самое, только еще медленней, как будто разделяя слова точками.

— Происходит. Что-то. Отвратительное.

— Где?

— На Центральной площади. — Слуховой аппарат Зверя был несравненно более совершенным, чем человеческий. — На Центральной площади. У метро. Да, у метро. Ты не слышишь? Я слышу. Крики... — Зверь как-то передернулся, поежился, зябкая дрожь пробежала по его толстой коже. — Уведи меня в ангар. Я хочу в ангар. — Он обращался прямо к Человеку, хотя обычно его приводили и уводили другие. — Не хочу оставаться тут...

Когда Человек поднялся к себе в кабинет, на диване сидел президент академии. Под глазами у него набрякли мешки, в углах рта выступили резкие морщины, верхняя губа крепким треугольником налегла на нижнюю, отчего лицо утратило выражение благодушия. Это был президент, только лет на десять старше.

— Где Русалка?

— Не знаю, — сказал Человек. — Не видел ее сегодня.

Он вызвал Ученика.

— Едем, — сказал Ученик. — Она там.

Машину не хотели пропускать, президент каждый раз махал парламентским удостоверением, зверски ругался, и верхняя губа все крепче ложилась треугольником на нижнюю, придавая лицу жестокое, грубое выражение. И десантники расступились, должно быть ошеломленные неукротимой яростью этого большого представительного человека в форменном академическом сюртуке с орденами и медалями по борту.

Когда подъехали к Центральной площади, Человек закрыл глаза, чтобы не видеть трупов, которые грузили на автофургоны с рекламными надписями мебельной фирмы: «Спальня для новобрачных — только у нас». Откуда-то сверху стреляли — потом он узнал, что студенты засели на колокольне с охотничьими ружьями. Ругаясь, президент велел шоферу ехать по самой середине площади, где пули так и свистели. Он встал во весь рост в открытой машине и упрямо стоял, показывая дорогу.

У здания телеграфа на белой тряпке красным было крупно написано: «Медики, все сюда!» Тут оказывали первую помощь.

— Как страшно изуродованы! Господи, чем это? — ужас-

нулся Ученик (подробности происшествия еще не были известны).

Президент ничего, казалось, не видел, стремился вперед, только иногда спотыкался у женского трупa, подымал угол простыни.

Они нашли ее в большом телеграфном зале — она делала перевязку старику, раненному в живот.

— Жива-а! — по-дикарски завопил президент, хватая дочь за плечи, вцепляясь в нее. — Идем. Немедленно идем отсюда, слышишь?

— Никуда я не пойду. — Она подняла бледное лицо — бледнее белой повязки, которая стягивала ее волосы. — Помогите... Подержите его... Да не так. — Ученик сделал то, что она просила. — О боже! — Старик хрипел, задыхался. — И этот...

Обратно ехали, когда уже вечерело. Русалка билась в машине, как пойманная птица, она казалась невменяемой и все твердила:

— Что же это? Как же? Я так ему молилась, так просила. Глухой бы услышал... Там были дети, дети! Вы понимаете — дети...

По городу расклеивали манифест. Он открывался словами: «Демократия и свобода — это для нас сегодня непозволительная роскошь». Первый министр объявил себя Главой Государства с неограниченной властью, отменил предстоящие выборы в палату депутатов, а существующую палату распустил. Начиналась эра открытой диктатуры.

Русалка все рвалась куда-то, не слушала, что говорил отец, обматывала шею косами, как будто хотела удавиться. Вдруг она точно проснулась, увидела Человека и потянулась к нему.

— Отвезите меня... к Зверю. Не могу с людьми. С людьми мне страшно.

— Мне тоже, — тихо сказал Человек.

7. ПРОТЕСТ ШЕПОТОМ

Падали мягкие, слабые хлопья снега и тут же таяли, растоптанные ногами, разьеженные шинами. Было сыро, знобко, пахло не зимней свежестью, но прелью, талью. Был канун

рождества, в витринах стыли елки, окованные сверкающими цепями, плачущие смолой, и лежали распиленные пополам рождественские поленья, из которых веером выпадали модные чулки телесного цвета (таких давно не носили) в блестящих прозрачных пакетиках.

Красный тлеющий шар солнца в сизом дымчатом кольце, похожем на кольцо Сатурна, снижался над крышами.

Однорукий прохожий с пустым левым рукавом, засунутым в карман пальто, с бледным скуластым лицом, обрамленным понизу темной скобой бородки, остановился и постучал металлическим молотком по дубовой резной двери особняка, на которой были в изобилие разбросаны головы Горгоны-Медузы, вазы с фруктами и отёчные крылатые младенцы.

— Президент академии у себя?

— Никого не принимает. Очень болен.

Человек написал на листке блокнота несколько слов и сказал, что подождет ответа. Его тут же пригласили навстречу.

Президент сидел у огромного электрического камина, оформленного в стиле ранней немецкой готики, в стеганом голубом халате, положив на скамеечку, обмотанную махровым полотенцем, ногу. Увидев Человека, он стянул полотенце и поставил ногу на пол.

— Так это действительно ты? Я думал, не обман ли... Садись, старик. Для всех я при смерти, но, конечно, не для тебя. И буду при смерти, — он посчитал на пальцах, — вторник, среду, четверг, первую половину дня.

Он был все тот же прежний президент, благодушно-барственный, снисходительный, довольный собой и миром.

— Кретины! Задницы! Затеяли от академии письмо, восхваляющее Главу Государства, где они его благодарят — да, да, благодарят — за арест восьмидесяти, за июльское избитие — ну et caetera. А в конце — последний перл: просят баллотироваться в академики.

— А труды?

— Нашли, разыскали. Две статьи пятилетней давности в «Католическом вестнике». Называются: «Наука и современное истолкование символов Библии». Все-таки есть слово «наука», и то хорошо. Надо подписывать письмо, а у меня, увы... Доктор запретил всякое волнение, общение с людьми. Полнейшая изоляция. — Он хитро сощурил глаза. — Вице-президент любит быть первым — вот он первым и поставит

свою подпись. Дорогу храбрым! Тебе налить «Сент-Эмильон»? Или белое сотернское? — Он подставил ему папиросный ящик с многочисленными отделениями и отделеньями. — Да, ты ведь не куришь.

— Я по делу, — сказал Человек.

— Слушаю тебя.

— По тому, помнишь. Я уже говорил с тобой.

Президент поморщился.

— Брось ты это. Его не вытащишь, а сам... Имеешь все шансы на мученический венец. А мне почему-то несимпатичен этот головной убор. Не идет шатенам, а?

В числе восьмидесяти сидел в крепости брат Ученика, семнадцатилетний подручный крановщика. При аресте он оказал вооруженное сопротивление. Ему грозила смертная казнь через повешение.

Человек хотел через президента добиться приема у Главы Государства. Объяснить, что это еще мальчик, что он ни в чем таком особенном не замешан...

— Ты как ребенок, ей-богу, — замотал головой президент. — Ему твои жалостные слова, как мулу колокольчики. Не следовало бы мне ввязываться в это дело. Но раз ты просишь... Напиши письмо, изложи толково все обстоятельства дела. Если мы не сумеем добиться для тебя приема, я хотя бы передам письмо. Или нет — лучше наш Математик передаст. — Президент умел элегантно, непринужденно избавиться от трудного или опасного дела, перевалить его на другого. — Математику девяносто, он глух и слеп, существует уже только для показа. На него шеф не рассердится. Вообще ситуация для просьб о помиловании не того... — Он поморщился. — Между нами говоря, в южных районах неблагополучно. Крестьяне захватывают земли, самовольно делят их. Взламывают амбары с зерном. — Президент понизил голос. — В сферах поговаривают о крупной карательной экспедиции. Дураки мужики, опомнились, когда он уже разделался с городскими... Ну ладно, ты напиши, и поскорее.

— Спасибо. Я напишу.

— А знаешь, у шефа к тебе какая-то странная слабость. Он часто о тебе спрашивает. И любит повторять эту фразу — человек номер один в технике, человек номер один в политике. Он говорит, что ты принес ему счастье, придал ему смелости, что он как раз в те дни решал, переходить ему рубикон

или... Как, ты уже уходишь? А я хотел тебе показать мою коллекцию турецких кальянов.

Нет, Человеку было не до турецких кальянов. Умирующий президент бодро вскочил, чтобы его проводить.

— Вот так и воюем в джунглях. Все хитростью, хитростью, ползком, на брюхе под лианами. — Президент был очень доволен собой. — Протест шепотом. Но Европа слышит, понимает. Ученые всего мира увидят — такой документ, и пет моей подписи.

— А если не шепотом? Чуть погромче? — спросил Человек.

Президент указал на порт — они как раз шли застекленной галереей, превращенной в зимний сад. Кричащие, разинутые рты орудий по-прежнему отдавали приказы городу.

— Что ты! Погромче — это было бы очень вредно. Преступно. Его окружают крайние правые...

— Еще более правые?

— О, да! Им не нравится, что дело обошлось малой кровью, они пугают его оппозицией слева, толкают на репрессии. Так называемые превентивные репрессии, когда изымают всех, кто мог бы со временем представлять опасность. Одна какая-нибудь левая выходка — и полетят головы. Достойные головы! Надо всячески осаживать молодежь, надеть на них намордники. Ради них самих, ты же понимаешь. Иначе я ни за что не ручаюсь. Я просто не берусь удерживать за медные рога бешеного Минотавра, если они его раздражат. Наши молодые друзья и ученики сейчас опаснее наших врагов. Это главная опасность.

Они медленно двигались по анфиладе комнат — египетских, китайских, скифских, еще каких-то, заставленных вычурной мебелью, загроможденных антикварными безделушками.

— Вот живу здесь, как заложник в стане врагов. — Президент сделал удрученное лицо. — О, им очень хотелось бы меня свалить. Но я не покидаю поста. Нет, я не подам им повода со мной разделаться! Все-таки это очень важно, что в президентском кресле сидит человек широких взглядов, не из их шайки. Они любой ценой хотят от меня избавиться, а я любой ценой буду удерживаться — зубами, ногтями...

— Любой ценой?

— Ну да. Это тоже борьба за демократию. Маленькая

победа демократии. И потом, сидя в этом кресле, я могу делать добро. Или хотя бы не делать зла, — поправился он. — Умру, посадят вам на голову зверя... — Человека передернуло. — Ох, прости, пожалуйста. Посадят эту скотину вице-президента. Можешь мне поверить, он наступит на детскую головку и даже не обернется посмотреть, что это хрустнуло. Умоется кровью, вспомните тогда меня, грешного. Постой. — Он тронул Человека за пустой рукав, остановил его на верхней ступеньке круглящейся лестницы с мраморными перилами и бронзовыми голыми мавританками, поддерживающими шары светильников. — А может быть, все-таки выпьешь рислинг? У меня настоящий, рейнский...

И вот Человек уже шел обратно, подняв воротник пальто, зябко поводя плечами, — мимо тех же праздничных витрин, по тем же улицам. Вечерело, но фонари еще не зажигали. Изморозь, точно мелом, прочертила мельчайшие ветки деревьев, параллельные линейки проводов, карнизы и подоконники — бело-черный благородный рисунок на серой шероховатой бумаге.

В одной из витрин Дед Мороз протягивал Красной Шапочке, отдаленно похожей на Русалку, корзину с апельсинами. Та улыбалась застывшей счастливой, сказочной улыбкой. Рождественская сказка блистала новенькими яркими красками, как обложка журнала. Но если приглядеться, оскал у Деда Мороза был неприятный — волчий, хищный. А апельсины были из папье-маше, грубо раскрашенные. Везде обман, даже в сказке.

— Привет Создателю Зверя!

Кто-то окликал его из дверей винного кабака, откуда валил пар. Кто бы это?

— Привет креслу номер 203!

Теперь он узнал говорившего — это был Писатель. В академии Наук и Искусств они занимали соседние кресла — номер 202 и номер 203. Их принимали в академию в один день.

Писатель, без шапки, присыпанный, точно нафталином, снежными блестками, высовывался на улицу и махал рукой, подзывая к себе Человека.

Человек любил книги Писателя — первые, пронизанные радостью бытия, любовью к детям, деревьям, животным, и бо-

лее поздние, странные, болезненные, где угадывалась тоска по гармонии, по цельному, перазорванному существованию.

У Писателя были грубые, резкие черты лица, толстый нос, лохматые брови. Когда он волновался, то лицо его подергивалось. Последнее время он мало писал и, если верить слухам, много пил. А если писал, то больше исторические исследования, биографии выдающихся людей прошлого, реформаторов и правдоискателей.

— Идите сюда. Истина в вине! Вы должны со мной посидеть.

— Да нет, я...

— Куда-нибудь торопитесь? Имеете шансы лучше провести субботний вечер?

Человек пожал плечами и вошел в кабачок. Люди сидели за столиками, не раздеваясь, под низкими сводами плавал табачный дым. Остатки пива и вина выплескивали прямо на земляной пол. Слепой старик играл на флейте — жалобно, заунывно. По столам ходила черная кошка, выгнув спину, задрав хвост трубой, и ела с тарелок остатки сосисок, передергиваясь от горчицы. Никто ее не гнал.

— Зачем вы в таком...

— А где прикажете? В Европейской гостинице, где стриптиз, сувениры для иностранцев и голубые фраки? Вы думаете, там мне было бы лучше?

— Нет, не думаю.

— Здесь хоть словцо услышишь хорошее, сочное. Пусть не печатное.

Он налил Человеку вина в не слишком чистый стакан. Девушка с крупными, как монеты, рыжими веснушками небрежно протерла стол и ушла, унося на своем плече черную кошку.

— Вот сижу, рассуждаю сам с собой. Интересует меня одна личность...

— Глава Государства?

— Браво! — сказал Писатель, мотая растрепанной головой. — С вами стоит разговаривать. Так куда идет страна? Эпоха? По моему глубочайшему убеждению, современник не имеет возможности отвечать на такой вопрос. Слишком короткий срок человеческой жизни. Все равно как если бы муха, ползя по окружности Земли, пыталась определить, какая это линия, ровная или закругленная, насколько закругленная и

куда она ведет. Чтобы понять ход истории, нужна дистанция. Свидетели событий всегда слепы.

— Печальное рассуждение.

— Веселенького хотите? Идите пить с президентом.

— Хочу ясности.

Писатель много и нервно курил, зажигая одну сигарету о другую, осыпая пеплом стол, тарелки и стаканы.

— Социальная жизнь неразборчива, как каракули ребенка, и не более осмысленна, чем его лепет. Шарлатан тот, кто берется давать оценки, выставлать баллы по поведению. — Сигарета жгла ему пальцы, но он, забывшись, не бросал ее. — Если меня спросят: «Что такое Глава Государства?», я скажу: «Зайдите так лет через сто. А лучше через двести». Усилия людей в области политики редко приводят к тем целям, которые они себе обозначили, — почти всегда к совсем иным, неожиданным и часто к диаметрально противоположным...

Он ткнул окуроч в цветочный горшок с чахлым растением и жадно затянулся новой сигаретой.

Человек потер лоб рукой, точно собираясь с мыслями.

— Если оценка невозможна — невозможно и действие. Значит, человек обречен на бездействие. Так?

— Хм! У вас слишком точное мышление. История человеческая ближе к полотнам импрессионистов, чем к геометрическим теоремам. Все смазано, зыблется, как отражение на воде. Только пятна... блики...

Писатель был пьян. Другой бы давно свалился под стол. А он хотя и запинаясь больше обычного, однако не терил нити разговора.

— Но существует же прогрессивное и...

Писатель фыркнул, насупил широкие брови.

— Ах, вам прогрессивное? Пожалуйста. Вот две фигуры — Талейран... и Грахх Бабеф... Князь Талейран был первый подлец Франции, хотя там подлецов в девятнадцатом веке хватало. Первейший. Вы со мной согласны? Человек без совести, чести, вечный изменник, не продававший только свою родную мать — очевидно, на нее не нашлось покупателей. — Лицо Писателя задергалось. — Говорят, дьявол в аду встретил его словами: «Спасибо, дорогой Талейран, но, на мой вкус, вы немного перестарались»... И что же? Он был прогрессивен, потому что при всех своих изменах служил одному хозяину —

Грядущему Буржуа. Да, он был прогрессивен. Потому что реаклен. Потому что не навязывал свою волю музе истории. А выполнял ее волю — по выражению наших возвышенных одописцев, волю «прекрасной и жестокой Клио». В этом отношении марксисты правы — история есть объективный, от нашей личной воли независимый процесс. Как любая химическая реакция — или что там еще у вас есть в мире наук...

— А Бабеф? — Человека интересовал этот растрепанный и напряженный разговор. — Гракх Бабеф?

— Праведник, подвижник. Мученик. Я хотел одно время писать его биографию — в манере Цвейга. Может быть, лучший, самый человечный и благородный человек, какого знало человечество. — Лицо писателя дергалось так сильно, что неприятно было смотреть. — Но его красивые идеи уравниловки, бесплатного хлеба, общей земли в условиях победного шествия капитализма были... ну, просто нелепы, смехотворны. Нежизненны. И следовательно, реакционны. Ведь прогрессивно не то, что нравится мне или вам, что вам или мне кажется красивым, благородным. Прогрессивно то, что грядет, чему должно быть! Вот вам парадокс: негодяй, который делает историю, и святой, который ей мешает. — Его рука пошарила по столу. — У вас нет случайно сигарет? Рыжик, кинь пачку «Дешевых»!

Девушка из дальнего угла кинула ему пачку, и он ее довольно ловко поймал.

— Но будущее показало, что Бабеф... — начал Человек.

— А вот тут начинается то, в чем марксисты ошибаются. — Писатель засмеялся хитрым пьяным смехом. — Они признают, что Адам на протяжении веков был слеп и, как крот, не ведал, что творил. Чертил одно, а строил совсем другое и еще сам себя обманывал, что верен чертежу. Признают! Но добавляют: «А мы зрячие и построим то, что хотим построить». Наивность! Хорошие ребята, мне их жаль... хорошие... Гракхи, братья Гракхи... А братьев забили насмерть. Хочешь, я буду тебя звать — Гай Гракх? Представляешь, мать этих Гракхов... святые матери. Я тоже хотел писать... о чем только не хотел... Хорошие, и мне их жаль. Где гарантия, что они построят царствие небесное на земле? Стараются, жертвуют... Первые христиане алкали царства равенства, а выстроилось чудовище средних веков, капище, гноище. С химерами. У-у-у! С человеческими сожжениями... Те, другие, хотели царства разума — стал

золотой мешок. Сен-Жюсты. Можно, я буду тебя звать — Сен-Жюст, а?

Он поставил локти в лужу вина, уронил голову прямо на грязную посуду, и больше от него ничего нельзя было добыть. Завод кончился. Из-под локтя торчал раздавленный коробок с надписью: «Дешев...»

Человек вышел из модвала наверх, на свежий воздух. Постоял, глядя на слабые, с трудом проклеивающиеся звезды, как будто придушенные пуховиком низкого неба. Зрелище разрушающейся человеческой личности не из приятных, оно всегда наводит на грустные мысли, происходит ли этот распад в особняке с готическими каминами или в затхлой пивнушке.

Что ж, надо идти...

Город уже зажег огни. Городу ни до чего не было дела. Маленькие витрины с тряпьем были похожи на тесные пещеры, заваленные награбленным, куда грабители позабыли дорогу. А может быть, грабители просто не могли вспомнить заветные слова: «Сезам, отворись»? Массивные слоновые колонны биржи твердили о том, что быть малыми жуликами, мелкой мошкаркой наживы невыгодно и опасно, но крупным хищникам при любой погоде живется хорошо.

На улице, что спускалась к порту, дул пронзительный свистящий ветер. Здесь всегда было холоднее, чем в центре. Высокие узкие дома, поставленные как-то вразнобой, светились редкими квадратиками окон. Ветер нес обрывки газет, клочки хлопка, запахи порта.

Нищий на углу отделился от стены. Человек привычно опустил правую руку в карман, но нищий неожиданно спросил обыкновенным, не нищенским, усталым голосом: «Который час?» Видимо, хотел знать, не пора ли возвращаться домой. После этого подать ему оказалось просто невозможно. И оба смутились оттого, что сместилось привычное, установленное.

Дом-Игла, как всегда, дрожал от глухого гула станков. У входа стоял часовой. С недавних пор по личному распоряжению Главы Государства была введена военизированная охрана дома и ангара. Кроме того, Глава Государства распорядился, чтобы чертежи Зверя существовали только в одном экземпляре (на каждом листе была государственная печать и подпись Главы Государства) и чтобы они постоянно находились в специальном сейфе в наглухо закрытой комнате.

Прежде чем подняться к себе наверх, Человек решил заглянуть к Зверю. Субботний вечер, канун праздника, надо посмотреть, как ведет себя дежурный, все ли в порядке.

Он вошел в ангар. Зверь отдыхал, уложив на лапы топорную голову, занавесив шторками глаза. А в стороне сидела Русалка, подперев кулаками щеки, и сквозь свесившиеся волнистые пряди волос, как сквозь дождь, смотрела на Зверя. Ее светлые колдовские глаза были задумчивы и печальны.

Человек спросил, что она здесь делает — ведь дежурить должен был другой.

Да, другой, но он упросил ее отдежурить за него. Суббота, у него вечеринка.

— А вы? Вам не жаль субботы?

— Нет. Мне все равно.

Ее тонкая фигурка в черном, как будто траурном платье, без всяких украшений, кроме растрепавшихся русых кос, представляла удивительный контраст с голубым атласным великолешием самодовольного отца, у которого он только что побывал.

— Что с вами? — спросил Человек просто и спокойно, без обидной участливости.

Она подняла тонкие брови.

— Я больше не верю. Не верю в бога.

— В какого? С бородой и в простыне?

Нет, в этого она верила, только когда была совсем маленькой девочкой.

— Я не верю в провиденье. В высшую силу и высшую мудрость. В бессмертье.

— Надо верить в человека, — сказал Человек мягко.

— Не знаю. Мне кажется, в тот день рухнула всякая вера. Самая возможность веры... А теперь меня посещают странные мысли. Вот взять и лечь в постель с Учеником. Почему бы нет? Не все ли равно? Какое это имеет значение? А потом лечь с этим мерзким вице-президентом, который ходит к нам в дом и смотрит на меня, как кошка на сало. — Она сделала неумело-развязный жест, это вышло у нее по-детски. — И все-таки что-то удерживает. Что же это?

— То, что удерживает... Вот в это и верьте. — Человек, чуть улыбаясь, осторожно положил ладонь правой руки на ее наклоненную голову. — И все будет хорошо.

Добиться для Человека приема у Главы Государства не удалось. Возможно, что президент не особенно настаивал — он был осторожен, дальновиден, привык учитывать все последствия. Девяностолетний Математик, шамкая и расслабленно улыбаясь, при случае отдал конверт Главе Государства в собственные руки.

8. ЧТО ТАКОЕ ЛУРДИТ

Шло следствие по делу восьмидесяти. Они по-прежнему сидели в крепости на Проклятых островах, без переписки, без свиданий, без всякой связи с внешним миром.

Человек очень долго не получал от первого министра ответа на свое письмо. Что ж, видно, правильно сказал тогда президент — у первого министра хватало забот и неприятностей. На юге тлело, разгоралось что-то очень похожее на крестьянскую войну, правительство официально объявило о посылке войск в южные районы.

Наконец на имя Человека пришла вежливая бумага, подписанная одним из секретарей первого министра: «Ваше письмо получили, переслали в прокуратуру. Если прокуратура найдет нужным...» Это был замаскированный отказ. По-видимому, больше ничего нельзя было сделать.

Человек молча показал бумагу Ученику. О чем тут говорить?

Но вот однажды Глава Государства прислал за Человеком рослого адъютанта с запиской: он приглашал его немедленно приехать. Адъютант был предупредителен и настойчив, сам помог Человеку снять рабочий халат, разыскал академический черный сюртук, посоветовал приколоть рубиновое алое сердце — высший орден страны. В его почтительности было что-то почти угрожающее.

— Я поеду с вами, — сказал Ученик.

— Глупости. Зачем это нужно?

— Я поеду. В крайнем случае просто посижу внизу в машине. Дождусь вас.

Взгляды их встретились.

— Хорошо, — Человек угловато пожал плечами, — поезжай.

На площади танцевали. Вихрились юбки, стучали тонкие каблук и толстые подметки.

Плывет моя лодочка без паруса.

Пускай.

Меня бросила моя девочка еще год назад.

Ну и бог с ней.

Жизнь не вышла, не получилась, не вытанцевалась.

Наплывать!

Я пью на свои — редко и на чужие — часто.

Вам что за дело?

Хорошо, что некому обо мне плакать.

Повезло...

Человеку пришлось очень долго ждать в большой холодной приемной с длинным рядом узких вытянутых зеркал в простенках между окнами. Адъютант подбегал и извинялся — непредвиденные обстоятельства, государственные дела... В окружении премьера стало еще больше военных всех рангов, преимущественно полковников и генералов. Везде, где только можно, были понатыканы десантники, стоявшие по стойке «смирно», рука на кобуре, с бесстрастными, отсутствующими лицами. Они отражались в зеркалах, множились, дробились, казалось, что их тут тысячи, что дом кишит ими, как крысами.

Что-то неуловимо изменилось со времени визита первого министра к Человеку. Шаги всех этих полковников и генералов стали мягче, шуршание бумаг тише, как-то почтительнее круглились спины, а когда раздавался негромкий звонок, то все они вытягивались в струнку и поворачивали голову в одну сторону, причем на лицах появлялось общее выражение слепой собачьей преданности. Это выражение было новинкой.

— Прошу вас...

Человека провели в следующую маленькую комнату для ожидания. За белыми с золотом двустворчатыми дверями слышался голос премьера, его шаги. Провожая посетителя, он неожиданно показался на пороге, все такой же элегантный, только немного более изношенный, с еще дальше отступившими назад заливами большого лба. Посетитель низко кланялся, пятился к выходу, видна была только согнутая спина.

Легким движением кисти премьер пригласил Человека зайти.

— Не успели обыскать, — сказал адъютант, белея, теряя всю свою почтительную наглость. — Одну минуту...

Обыск? Во Дворце Республики? Это тоже была новинка. Человек почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо.

— Не надо, — сказал премьер после паузы. — Так пропустить.

И то же слабое движение кисти сбросило со счетов рослого адъютанта с его испугом, служебной ошибкой и, вероятно, серьезными неприятностями в недалеком будущем.

Изысканный строгий кабинет премьера, решенный в черно-серых и лиловых тонах, был почти пуст. На полу лежал ковер без цвета и без рисунка, чем-то напоминающий современную музыку без мелодии и даже почти без звуков. По стенам висели на длинных шнурах полотна без рам. На голом простом столе извивалась странная статуэтка из черного камня, заломив руки. Бумаг нигде не было видно.

— Рад вас видеть. Не курите?

— Нет. Благодарю.

— Как вам работается?

— Нормально.

«Он принимает меня в полночь, чтобы спросить, как мне работается, — подумал Человек. — Трогательно. Как добрый король из старой сказки».

— Ваше письмо я читал. Но сделать ничего не мог. Есть нечто, что выше меня, — он папирсой, зажатой между тонкими пальцами, небрежно указал на потолок, — мой долг. — Глаза его смотрели, но не видели, их заволакивала дымка равнодушия, усталости. — Вы должны понять. Я не могу творить произвол, — он быстрым острым взглядом кольнул Человека, — пусть даже произвол милосердия.

И опять глаза стали равнодушными, пустыми.

«Так для этого он меня позвал? Чтобы оправдаться, извиниться? Очень странно». Человек терялся в догадках. Он чувствовал себя настороженно — как будто был один на один в клетке с опасным хищником.

— Как вам правится мой кабинет? Мои картины?

— Я плохой знаток живописи.

— Напрасно. Искусство расширяет наше «я». Если хотите, приближает нас к богу, к природе. Но только современный художник, вместо того чтобы копировать природу, пытается изобразить вселенную как мощный поток изменчивых явлений, еще не успевший породить определенные, знакомые нам формы...

— Боюсь, что мне, как технику, приходится иметь дело как раз с определенными, законченными формами, — сказал

Человек, чуть улыбнувшись. — Но у каждого, конечно, свое видение мира. И свое право отстаивать его.

«Лекция о современном искусстве. В половине второго ночи. В кабинете Главы Правительства. Кто бы этому поверил?» Напряжение все росло.

— Как технику... как технику. — Премьер опять сел за свой голый странный стол. — Кстати, скажите, что такое лурдит?

Вопрос был задан вскользь, легко.

Вот он где, главный разговор. Вот она, опасность. «Берегись, — предостерегал Человека внутренний голос, — будь осторожен! Думай над каждым словом». Он еще не понимал, в чем дело, но весь подобрался.

Лурдит — так называлось взрывчатое вещество, над созданием которого Человек работал последний год. Эта идея созрела в нем после того, как Зверь едва не погиб, пробиваясь сквозь горные породы. Человек решил: на случай непредвиденных осложнений Зверь обязательно должен нести с собой запас взрывчатки большой разрушительной силы. Работы с лурдитом находились еще в стадии эксперимента. В печати о них не было ни слова.

— Благодарю, — сказал Глава Государства, выслушав объяснение. — Скажите, а где хранятся наличные запасы лурдита? А кто имеет к ним доступ? — В глазах его уже не было скуки, равнодушия. — А каков порядок выдачи?

О лурдите знали всего несколько человек. Доступ к лурдиту имели двое: сам Человек и Ученик.

Человек сказал:

— Доступ к лурдиту имел только я один.

Премьер облокотился о голый стол, который очень подошел бы для разделки туш. Или трупов.

— Вы уверены?

— Да.

— И никто другой? Прошу вас подумать. — Премьер был изысканно вежлив. — Я подожду.

Человек мельком вспомнил обо всех этих генералах у него за спиной, о десантниках, которые плодились и размножались в узких дольках зеркал.

Какой трудный поединок! Какой изнурительный...

«Выгораживай себя, — говорил внутренний голос. —

Спасай свою шкуру. Ты ведь действительно тут ни при чем. Ты ведь ничего не знаешь».

— Доступ имел я один.

— А допускаете ли вы, что могли иметь место случаи пропажи лурдита?

— О, — сказал Человек беззаботным голосом (может быть, чуточку слишком беззаботным), — у нас дважды была нехватка лурдита при перевешивании. Замок в этой комнате был несколько дней неисправен, так что возможно...

— Отчего не сообщили о краже, да еще повторной? Отчего храните взрывчатку такой силы в неопечатанном помещении?

— Я как-то не придавал значения... Не задумывался...

Повисло молчание. Премьер вертел в пальцах черную, гладкую, блестящую статуэтку, корчащуюся, как от боли, напряженно изогнутую, как под пыткой. Потом резким движением поставил ее на место.

— Завидую мужам науки, рассеянным, не замечающим презренной прозы. — Он улыбнулся, укоризненно покачал головой, и Человек понял: пронесло. — Если бы мы, политики, столь беззаботно и легкомысленно относились к идеям большой подрывной силы, то, возможно, Европа уже взлетела бы на воздух. И вы не имели бы удовольствия беседовать со мной в этом кабинете. По счастью, опасные идеи у нас на замке, и замок всегда исправен. — Он дружески, почти интимно взял Человека за локоть и повел к картинам. — Я хочу, чтобы вы еще взглянули на этот этюд Люсьена Фрейда, внука знаменитого психолога. Он соединяет, как мне кажется, наивный подход примитивиста с изощренным чувством фантастического и призрачного, характерным для сюрреалистов. А в то же время близок к немецкому экспрессионизму, к так называемой «новой вещественности» Дикса и молодого Гросса...

Прощаясь с Человеком на пороге кабинета, пожимая ему руку, премьер сказал подчеркнуто серьезно, весомо:

— Я не хотел бы вас терять. Вы мне нужны. Помните это. — И назвал его официальным титулом: — Помните, Создатель Зверя. Но вокруг меня могут остаться только люди, которые думают и действуют синхронно со мной, без отклонений. Настанет время, когда я не смогу — даже если захочу — терпеть инакомыслие. Ни в чем! Не спасут заслуги, не спасет дарование. — Он небрежным движением кисти показал на полотно, висевшее за его спиной, где было изображено подобие

дерева с лазоревым стволом и огромными золотыми грушами. — Большую ветку отсекают беспощадно, даже если на ней полно плодов. Ведь она может заразить все дерево...

И створки белых с золотом дверей закрылись.

Предостережение. Да. И довольно внятное. Что ж, пусть будет предостережение.

В маленькой прихожей ждал уже новый адъютант, очень напоминавший прежнего, тоже рослый, красивый и с наглова-то-почтительными манерами. Интересно, куда они девают адъютантов, вышедших из употребления, пришедших в негодность?

Узким коридором адъютант вывел Человека не в большой зал с зеркальными простенками, а в какую-то совсем другую комнату. На полукруглом диване с неподходяще веселыми букетиками цветов сидя дремал президент академии. Он вскочил с места.

— Ты? Наконец-то. Я уж думал... Меня иногда вызывают, чтобы поставить в известность... Ну, неважно, пустяки. — Адъютант стоял как столб. — Разговор был интересный? Перспективный? Это деятель большого масштаба, он и в технике видит дальше нас с тобой. Его могучая воля, колоссальный организаторский талант...

Адъютанта позвали, он куда-то отлучился.

— Ну, о чем?..

— О лурдите.

— Хм. Ясно.

— А мне ни черта не ясно.

Вернулся адъютант и повел их вниз в вестибюль. Там стоял, привалившись к стене, Ученик и беседовал со старым гардеробщиком о смысле жизни и ценах на бекон. Президент, фыркая и отдуваясь, влез в тяжелую шубу с бобровым воротником. Открылась массивная дверь и гулко за ними захлопнулась. Они пошли к своим машинам по двору, вымощенному крупными плитами, огороженному со всех сторон глухими стенами.

— О твоём брате ничего утешительного, — сказал на ходу Человек Ученику. — Не захотел и слушать.

— Ты что, старик, не знаешь? — охнул президент. — Крепость на Проклятых островах взорвана, заключенные бежали — видимо, их ждал корабль. И взрыв, как предполагают, произведен лурдитом.

Ученик подтвердил:

— Есть в сегодняшних вечерних газетах. Обо всем — кроме лурдита, конечно.

Так вот в чем дело...

Человек сел в машину вместе с Учеником. Он вдруг почувствовал ужасающую свинцовую усталость. Света не зажигали. Впереди ехал роскошный автомобиль президента, в котором мурлыкала музыка.

— Драть бы тебя, — сказал Человек разбитым голосом. — Драть крапивой.

В зеркальце мелькали разноцветные огни порта, подернутые туманом.

Ученик сидел, подтянув колени почти к самому подбородку, обхватив их длинными руками. Он сказал, едва двигая губами, чуть слышно:

— Победителей не судят.

— Да? — Человек устало покачал головой. — Ничего еще не кончено. Вот начнут копать с этим лурдитом...

Машина как раз заворачивала за угол, и, наверное, поэтому плечо Ученика мягко дотронулось до плеча учителя, до его пустого рукава.

— Не беспокойтесь, как только вам будет угрожать...

— Идиот! Все вы идиоты проклятые! — закричал Человек. — Разве я об этом? Разве дело... Тьфу! Дай же мне папиросу, наконец. Если я сейчас же не закурю...

9. ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИЗГИБУ ПОДЛОСТИ

Город утопал в сирени. Этой весной шли теплые бурные дожди, рано начало пригревать солнце, почва стала тучной, рыхлой, обильной, благодатной, в ней легко прорывали свои ходы жирные черви, в ней хорошо, привольно разрастались корни, впитывая соки жизни. Старожилы не помнили, когда еще так богато, так пышно цвела сирень, белая, бледно-лиловая, точно промокашка из детской тетрадки, густо-фиолетовая, как пролитые чернила, красноватая, винная. На иных кустах совсем не было видно листьев. Когда шел дождь, в мутных городских потоках плыли отломанные большие ветки сирени, звездочки опавших цветов пятнали черные мокрые блестящие тротуары, скользкие булыжники мостовой. Когда низкое серое

небо прояснялось, погода разгуливалась, купы кустов, кны цветущей сирени вываливались наружу из всех дворов, садов, прорывались, продирались сквозь прутья, лохматились в лицо прохожим. Город пропах сиренью, этот запах глушил даже дух бензина и прогретого асфальта.

У Человека все эти дни было грустное настроение. В этом буйстве природы, в этом торжестве цветения ему чудилось что-то победоносное, ликующее и даже жестокое. Мертвые пусть спят, узники пусть томятся в каменных слепых одиночках — все равно все свершается в свой черед. Приходит весна. Дышит распаренная черная земля. Беспощадно, безжалостно цветет сирень.

В то утро Русалка пришла на работу в белом платье, с открытыми, чуть тронутыми розовым загаром тонкими руками и шеей.

«Быстро зарастают у них душевные раны», — с горечью подумал Человек, который как раз садился в машину, чтобы уезжать.

И конечно, был не прав.

Просто жизнь продолжалась. Просто Русалке было двадцать три года. Просто белому платью надоело висеть на плечиках в шкафу, необходимо было поразмяться.

А шрамы от глубоких душевных ранений не зарастают очень долго, часто остаются навсегда. Но они не видны, даже если надеть платье без рукавов и с большим вырезом.

Русалка смотрела вслед уехавшей машине, заслонив глаза ладонью. Конечно, ей не могло прийти в голову, что она видит Человека последний раз в жизни. Если бы кто-нибудь ей такое сказал, она бы, наверное, рассмеялась.

— Куда это он так рано?

— В академию. На заседание.

Шофер, с веточкой сирени за кокардой фуражки, добродушно-глупый, услужливый, был в то утро доволен собой и погодой, весел, ему хотелось поговорить на какие-нибудь интересные темы.

— Газетку вчерашнюю читали? Женщина родила младенца с двумя головами. Куда же его теперь, в науку? Или населению будут показывать? И как считаете, он один, младенец, или их, с позволения сказать, двое? И опять насчет имени — одно давать? Или, скажем, два — через тире? И как насчет метрики...

Материал о двухголовом ребенке был напечатан на первой странице пухлого многокрасочного воскресного выпуска — крупно, жирно, с фотографиями. А где-то на восемнадцатой — последние сообщения из южных районов страны. На юге карательные отряды сжигали целые деревни. Всех подряд: женщин, детей, стариков. Распарывали активистам животы, засыпали туда горстями землю — ты хотел чужой земли, так на, получай, жри...

Избрание нового академика всегда происходило в Актовом зале — так было заведено с первого дня существования академии Наук и Искусств.

Здесь, в академии, царила Госпожа Традиция. Здесь были все те же неизменные стулья с тонкими гнутыми золочеными ножками, и обивка на них всегда была истершаяся, полинялая — ее старались менять возможно реже. Здесь были темные гобелены с неразборчивыми пасторальными сюжетами, темные, почти черные портреты в рост основателей академии — «первых шестнадцати», темные, пятнистые, как будто шелушащиеся после тяжелой болезни старинные зеркала, в которые нельзя было смотреться, канделябры со свечами, которых не зажигали уже сто лет, но подле которых неизменно, неизбежно лежали щипцы для снятия нагара.

Академики медленно, неохотно съезжались на торжественное собрание. Согласно традиции на этот раз они были не в парадных академических сюртуках, а в том виде, в каком посещали ассамблеи академии ее основатели, «шестнадцать великих» — длинный, темный, низко свисающий на плечи парик с крупными буклями тщательно завитых кудрей, латы, черные, вороненой стали, отливающие синевой, и кружевное жабо у шеи.

Лица, почти у всех собравшихся будничные, озабоченно-деловые, странно контрастировали с кружевом и сталью, с условными кинжалами в ножнах и выложенными в строгом беспорядке театральными буклями. Некоторые были положительно смешны — особенно толстые старые люди, в которых не было ничего героического, романтического.

В таком виде, как тени прошлого, как привидения из старого добропорядочного романа, ходили по огромному фойе лучшие ученые страны, тихо переговариваясь, немного стесня-

ясь звона своих лат. Внизу одна за другой, фырча, отъезжали ультрасовременные автомашины последних марок.

Человек чуть не опоздал — он искал этот чертов парик, а его, оказывается, Ученик отнес к своей матери, потому что в локонах завелась моль. Насилу нашлись перчатки и жезл, который каждый из них обязан был держать в руках.

На широко разливе входной лестницы его догнал астроном, спросил:

— Значит, будем выбирать его академиком? — и беспомощно развел руками. Астроном был стар, очень стар, почти как звезды, которые он любил, его опущенная белым редким облачком волос голова тряслась на тонкой худой шее. — Что ж... Политика — это всегда грязь, от Цезаря и до наших дней. Так было, так будет. Скажу свое «да», сплуну, если во рту будет слишком горько, и вернусь обратно к звездам. — И стал с увлечением рассказывать о неприличных повадках одной маленькой звездочки из созвездия Волосы Вероники, о ее капризах, об отклонениях от положенного. Он говорил добро, мудро и снисходительно, как говорит о простительных заблуждениях молоденькой балеринки много повидавший на своем веку директор труппы.

Человек вошел в фойе и стал к стенке, хмурясь, дергая плечом. Его раздражала эта нелепая палка в руке, раздражали длинные крылья парика, мотающиеся, как уши у собаки. Он не любил бессмысленного, бесполезного.

Рядом остановился Философ, великолепный, презрительный, с ироническим прищуром глаз. Он смолodu играл в либерализм, даже написал левую книгу «Его величество народ»; теперь называл себя независимым и выпустил книгу: «А я — ни с кем».

— Какие у него уже есть звания? Глава Государства. Командующий всеми сухопутными и морскими силами Республики. Отец церкви. Будет еще и членом академии.

— Да? — как-то уж очень нейтрально переспросил Человек.

— Мы-то с вами, конечно, знаем всему этому цену. Маскарад величия, горностаи и пурпур. — Он высокомерно скривил губы. — Помню, когда я путешествовал по Египту, меня насмешила одна мастаба: гробница вельможи — этот вельможа умер от счастья, потому что фараон удостоил поставить ему ногу на голову. А имя этого фараона пигде больше не сохра-

пилось, это единственное упоминание. Ученые даже не знают, как его правильно произнести. Забавно, да?

Человек упорно молчал. Он имел основания не доверять Философу.

— Но сильная фигура, этого у него не отнимешь. А сила всегда притягивает, покоряет. Что ни говори, с сильного другой спрос, ему многое прощаешь.

Последние аресты в университете среди студентов и преподавателей молва связывала с именем Философа.

Мимо прошел Физик, наклонив красивую львиную голову, не поднимая глаз. Ему было стыдно.

Он как-то давно еще, сразу после прошлогоднего июльского уличного разгрома, говорил Человеку: «Кажется, если бы не мальчики, не выдержал бы этой мерзости, встал и...»

У Физика были четыре сына, погодки, очень умные, талантливые, блестящие, многообещающие. Они много значили в его жизни.

На мраморных столах были разложены труды того, кого предстояло сегодня выбирать — отиски его богословских статей, изящно переплетенные в черный сафьян. Сунув жезл под мышку, Человек взял одну такую тоненькую книжицу, больше похожую на тетрадку, раскрыл ее. «Наука не зачеркивает Библию, как это думают некоторые. Просто теперь, когда человечество стало старше, оно должно читать библейские тексты по-иному, понимать их не так буквально и наивно, как люди времен крестовых походов, но истолковывать аллегорически, иносказательно. Если в Библии сказано, что бог сотворил вселенную в шесть дней, то, собственно говоря, что нам мешает эти дни понимать, как шесть исторических эпох, каждая из которых могла длиться миллиарды лет? Легенда о сотворении Адама и Евы также требует символического переосмысления. До Адама и Евы на земле, возможно, существовали не одушевленные богом человекообразьяны, и сотворение богом первых людей заключалось только в том, что он вызвал в одной паре человекообразьян мутацию, мгновенную перестройку, в результате которой они были одухотворены, очеловечены и превратились в Адама и Еву».

Человек читал, а кругом переговаривались:

— А где наш дорогой президент?

— Не придет. Тяжелый приступ подагры. И как всегда, совершенно неожиданно, — ответил Геолог с тонкой улыбкой.

— Кого же нам выдадут по такому случаю в председатели?

— Вице-президента. Вон он идет.

Человеку хотелось избежать встречи с вице-президентом, но не получилось. Тот остановился, поздоровался с ним за руку.

— Рад вас видеть. Очень рад. — Маленький хилый человечек в очках, с тихим ласковым голосом, он походил на провинциального священника или учителя чистописания. — Как состояние здоровья?

Вокруг вице-президента шныряли какие-то просительные фигуры, стремясь привлечь его внимание. Но он решительно повернулся ко всем спиной, взял Человека под руку — железо звякнуло о железо.

Человек и человечек отошли в сторону.

— Как последние испытания? Глава Государства очень интересуется. Я все собираюсь к вам заехать посмотреть. — Вице-президент тоже был конструктором, работал в смежной области. — Эпоха нас торопит. Могут появиться в других странах подземные самодвижущиеся системы разных типов, и никто не в силах этому воспрепятствовать. До чего додумался один Ното Sapiens, додумается и другой. Ну сначала, естественно, это будут безобидные научные эксперименты. Но когда-нибудь... со временем... Вы, очевидно, понимаете не хуже меня...

«Я создал его не для войны, — думал Человек, разглядывая восьмигранники старинного дубового паркета у своих ног. — Я создал его безоружным, беззащитным. Я создал его для науки, для познания, для расширения сферы познания».

Вице-президент продолжал четко и бесстрастно развивать свою мысль:

— Для меня абсолютно ясно, что будет дальше. На смену опытным экземплярам, зверюшкам-игрушкам, — он позволил себе улыбнуться, — придут крупногабаритные мощные Звери периода массового выпуска, с дальним радиусом действия, большой грузоподъемностью...

«Я создал его безоружным, беззащитным. Я создал его другим людей. Но в глубине души я знал — да, я всегда знал... Неужели начинается? Неужели уже начинается? Я считал, что имею в запасе еще добрый десяток лет для нормальной спокойной работы. Я не хотел об этом думать раньше време-

ни. Мне казалось — успеется. Я все откладывал самую мысль об этом... Да и обстановка в стране никогда не была...

— Все верхние пути они, естественно, заминируют.

— Они?

— Ну, они, мы, — сказал человечек тихим пасторским голосом, поправляя очки. — Каждая страна создаст линии минных заграждений, подземные кордоны, которые будут повторять линии ее наземных границ. Это же так понятно.

— Да, понятно, — повторил Человек без всякого выражения.

— Практически верхние горизонты очень скоро станут непроходимыми. Пойдет борьба за глубину. И Глава Государства надеется...

Зазвучал колокол, призывающий в Актовый зал.

— Хотелось бы в самое ближайшее время показать вашего Зверя армии. Возможно, где-нибудь на юге. — Это было сказано осторожно, между прочим. — Маневры... Разумеется, это не может иметь серьезного практического значения. Но психологический эффект... «Пора творить легенду», — как выразился Глава Государства. — Он почтительно склонил голову, совсем по-пасторски соединил ладони. — Словом, на этих днях вам будут даны большие, очень большие полномочия и ассигнования. Форсируйте работы. — Человечек улыбнулся Человеку ласковой замороженной улыбкой. — Да благословит вас бог.

И ушел, а искательно согнутые, неотступные фигуры последовали за ним на некотором расстоянии, как следуют рыбешки-лоцманы за акулой или другим хищником: а вдруг что-то перепадет.

Поток людей втягивался в зал. Самый молодой академик, загорелый белозубый Океанограф, весело приветствовал Человека, пробираясь к нему в толпе.

— Как дела? А я еду на военном корабле в кругосветное путешествие. На два года! — Человек повернулся к нему, взглянул в лицо, и Океанограф погасил улыбку, как гасят папиросу, стал сумрачно-серьезным. — Да, гнусно, я с вами согласен. А что сделаешь? Я хотел сегодня не прийти, как позволяет себе наш президент. Но что можно Юпитеру, то нельзя быку. Полетела бы к чертям моя поездка. А я так долго за это бился, меня с таким трудом утвердили — вы ведь знаете, мой отец сотрудничал в свое время в социали-

стических газетах, был близок к рабочей партии до ее запрещения. Этих вещей у нас не забывают. Подумать только! — Опять блеснула его славная мужественная улыбка. — Такое путешествие, это же моя старая мечта, мой мальчишеский сон. И потом от этого зависит моя работа. У меня ведь работа...

«У всех работа», — хотел сказать Человек, но промолчал и отстал от Океанографа, потерял его из виду. Позднее вспоминали, что в то утро он был очень молчалив — еще молчаливее обычного. Мало кто в то утро слышал его голос.

Тяжелая рука хлопнула Человека по плечу — так, что зазвенели латы. Это был Писатель с его лохматыми бровями и толстым носом, с неизменной сигаретой в зубах.

— Нечего толкаться. Постоим, сосед.

Жабо сидело на нем косо, кое-как, локоны парика спутались.

— Хоть докурить... — Он жадно, часто затягивался. — Вот вы стоите, прямой, как солдат, в панцире... с бородкой... Был такой великий однорукий — Мигуэль Сервантес де Сааведра. Однорукий солдат. Вы на него похожи.

Человек, смущаясь, неловко пожал плечами.

Писатель неожиданно рассердился.

— Прямой. Это только кажется. Вы прямой. Я прямой. Иллюзия! Так или иначе все мы изгибаемся, склоняемся, применяясь к изгибу подлости века. — Он сыпал пепел на обивку золоченого диванчика, на паркет. — Нельзя оставаться прямым. Тебе кажется, что ты прямой. Но позвоночник уже изогнут, необратимо изогнут...

— Сколиоз, — обронил на ходу Медик с понимающей усмешкой.

Писатель сплющил сигарету о каблук и сунул ее в вазу.

— А изгиб подлости века очень крут — и становится все круче. Надо уже выламываться вот так. — Он весь перекосялся с шутливой гримасой боли. — Выламываться, ломаться.

— Что тут у вас? — тихим ласковым голосом спросил вице-президент, проходя в зал.

— Рассказывают похабный анекдот, — грубо ответил Писатель. — Как одна публичная девка...

Зал был полон. Человек и Писатель сели на свои места — кресло номер 202 и кресло номер 203. За красным бархатным барьером правительственной ложи, ближайшей к сцене, по-

явился Глава Государства. В темнокудрявом парике и вороненых парадных латах, с белым отложным широким воротником вместо кружева, уперши в бок руку с жезлом, он выглядел отлично, как будто только что сошел со старинной батальной картины. Его тонкие жестокие губы, впалые щеки и пустые глаза удивительно подходили к этому костюму Черного Воина, Воина Зла, превращали маскарад во что-то гораздо более серьезное.

На сцену вышел вице-президент и сел в резное потемневшее кресло, на котором согласно традиции лежал толстенный том в переплете из ослиной кожи (туда испокон веку заносились имена всех избранных академиками). Переплет должен был напоминать о том, что один из основателей академии прославился памфлетом: «О пользе ослов».

Длинный лысый человек начал монотонно читать протокол последнего заседания. Его предстояло утвердить. В зале не слушали, переговаривались.

— Идиотизмы, ослизмы, — сказал Писатель сердито. — А закурить нельзя. Выпить тоже. Кланяйтесь, изгибайтесь, де Сааведра. Ослиному зад, сидящему на ослином томе, кланяется — кто? Человек. Достойно кисти Гой!

— А если Человек не хочет кланяться?

— Э, бросьте. Все на свете так относительно. — Лицо Писателя задергалось. — Я сейчас изучаю кое-какие материалы по религиозным войнам. Хочу написать... думаю начать... — Он махнул рукой. — Бедная многострадальная наша родина! Читаешь — и страшно. И там и там — заблуждения. Из-за одного слова, искаженного неграмотным переводчиком, лились реки крови... люди шли на смерть, на подвиг. Не знаю, кто страшнее, кто дурее — те, что жгли во имя бога, говорящего «Не убий» на языке древних латинян, или те, кто радостно, с псалмами всходили на костер во имя бога, говорящего «Не убий» на грубом, тогда еще совершенно неразвитом крестьянском диалекте наших предков, с этими отвратительными флексиями... Сейчас смешно думать и о тех и о тех.

— Мне не смешно.

— Врете, дон Мигуэль. Смешно! Так же смешны будут наши распри потомкам. Да они даже не сумеют понять, что мы там проповедовали. Кто был в черных латах, а кто в белых ризах. Белых с кровью... Нет, прав Эклезиаст: «Видел я все

дела, какие делаются под солнцем, и вот все — суета и томление духа!»

Человек спросил, отчего же он, придерживаясь таких взглядов, подписал в свое время протест против ареста восьмидесяти.

Писатель насупился, сердито фыркнул.

— Просто дурная привычка быть чистоплотным. Подтираться пипифаксом после испражнения. Немодно, устарело. Пора бы отвыкнуть...

Протокол утвердили и перешли к следующему вопросу. Вице-президент стал тоном проповедника излагать, как много сделал для отечественной науки Глава Государства, каким чистым и прозрачным медом мудрости напоены труды его, как он прост, человечен и скромен, как глубокий и гибкий в своих обобщениях, как поражает, почти сокрушает непреодолимая сила его логики и кристальная ясность ума...

На пюпитре перед каждым креслом лежала все та же тоненькая чернокожаная книжица. Писатель потянулся за ней.

— Хм. Гибкости, действительно, хоть отбавляй. «Описанное в евангелиях чудо насыщения пяти тысяч человек пятью хлебами легко объяснимо: конечно же, Иисус утолял духовный голод людей хлебом своего учения». — Он резко захлопнул книжицу. Устало обмяк в кресле. — Напиться бы до полного скотинства...

Началась церемония голосования.

— Кресло номер 1.

Встал толстый академик, похожий в своих латах на вспучившуюся от долгого хранения консервную банку, поднял жезл над головой и произнес:

— Да, согласен.

— Кресло номер 2.

Встал Астроном. Одуванчик его головы мелко трясся: казалось, сейчас облетит последний пух.

— Да, согласен.

«У одного старость, — думал Человек. — У другого дети. У третьего дело, благородная забота о своем деле. Или о своем теле? Получается, что всем нельзя. Кому же можно? И мы еще удивляемся, как в темные эпохи, эпохи подлости...»

— Кресло номер 56.

Встал Философ и сказал со вкусом, приятным глубоким басом, непринужденно отставив руку с жезлом:

— Да, согласен.

У Писателя поза равнодушия, неверия. Или просто пьянства? Медик знает одно — он приносит пользу людям, спасает их, а до всего прочего...

— Кресло номер 91.

Встал Физик и буркнул, не поднимая головы, нахохлив плечи:

— Да. Согла...

Чей-то голос, казалось, говорил над ухом: «Ты лично должен быть чист. Не пачкать рук кровью. Остальное — не в твоих силах. Общий ход вещей изменить невозможно. Это не по силам отдельной личности. В этом марксисты правы».

Чей это голос? Президента с его спасительной подагрой? Или Писателя?

«Не то грядет, что прекрасно, а то грядет, что грядет. Понять необходимость и простить оной в душе своей».

— Кресло номер 116.

Встал Актер, сказал положенное и попросил разрешения прочитать стихи.

Он добр, он мудр, и разуму его
Потомки будут удивляться...

Чей-то голос говорил в самое ухо: «Заблуждения человечества удручающи. Оно не заслуживает того, чтобы мы о нем заботились, думали, чем-то для него жертвовали. Люди лживы, неблагодарны, забывчивы. Сколько героев отдали свою кровь — а мир не стал ни на грош лучше...»

И другой голос бубнил: «Эй, глупый баран, не ходи по горам...» Детская присказочка. Откуда это? Из какой дали? Голос старухи няньки, которая умерла добрых тридцать лет назад. «Эй, глупый баран, не ходи по горам, там волки живут, тебе лоб разобьют!»

Встал в свой черед Океанограф и сказал медленно, трудно, с усилием:

— Да. Согласен.

Не делать зла человеку — определенному человеку. А зло людям — как с этим быть?

У кого сыны. У кого черные лебеди. Сколько уважительных причин.

Но ведь кто-то должен... Почему должен? И почему...

— Кресло номер 199.

Нет! С какой стати? Да почему именно я?.. Ни в коем случае. Потому что нет семьи? Есть мои ученики. Есть моя незаконченная книга. Есть мой Зверь. Да я даже и не думаю об этом. Скажу, как все... Уши бы залить воском, как гребцы Улисса, когда не хотели слышать пения сирен. Себя не слышать.

— Кресло номер 202.

Изгиб подлости. Неужели и вправду так может быть — позвоночник уже изуродован, не распрямляется, а ты этого не замечаешь, привык, прижился в согнутом, искривленном положении?

— Да, согласен, — монотонно сказал Писатель, кажется даже не вдумываясь.

«Нет, ни за что. Никогда. Я хочу жить. Жить, дышать, работать. Как все. Как последний...»

— Кресло номер 203.

Человек встал, поднял жезл над головой, твердо, отчетливо сказал:

— Не согласен.

И сел, такой же, как всегда, может быть, еще немного бледнее. Наступило замешательство. Некоторые переспрашивали у соседей: «Что? Что он сказал?» Монотонная процедура укачала многих, они не вслушивались в вопросы и ответы.

Хилый человечек на сцене со съехавшими очками повернул свое искаженное гримасой лицо в сторону правительственной ложи. Пауза тянулась и тянулась. Стояло тяжелое неловкое молчание.

Глава Государства, чуть поморщась, сделал легкое движение кистью руки. Это надо было понимать так: «В чем дело? Продолжайте, ничего особенного не случилось». Потом приближенные к нему люди утверждали, что Глава Государства пробормотал сквозь зубы что-то вроде: «Дурак», — очевидно, в адрес растерявшегося председателя.

Он бросил короткий взгляд в зал, и глаза их встретились — Главы Государства и Человека. Встретились на одну малую секунду. Глава Государства отвернулся, оперся на жезл и продолжал сидеть с незаинтересованным, совершенно спокойным лицом, в позе изящной скуки — сильный и опасный враг, Черный Принц Зла.

— Кресло номер 204, — сказал человечек, точно возвращаясь с того света, поправляя очки.

Человек ехал в машине обратно с заседания, возвращался к себе.

Цвела сирень. Сирень была всюду: на дешевой кофточке простоволосой огненно-рыжей девчонки, на берете ее паренька, в промчавшейся навстречу машине, в окне, распахнутом ветром, умытом ливнем.

Да, в этом было что-то жестокое. Мертвые пусть спят, узники пусть томятся в каменных мешках — сирени ни до чего нет дела. Она цветет...

Человеку хотелось попросить шофера свернуть в сторону, на старое кладбище, хотелось посидеть с полчаса на могиле учителя, успокоиться. Но этого нельзя было делать. Он должен был спешить, если хотел закончить все свои дела.

Низкое небо уже прогибалось, нависало над головой, обещающая очередной ливень. Первые пятна зарябили на асфальте. Начали раскрываться зонтики. По стене сирени с разбойничьим посвистом пробежал ветер, точно шаря грубыми руками в поисках цветка счастья, цветка с пятью лепестками.

Когда Человек вошел к себе в комнату, звонил телефон, и, видно, давно уже звонил.

— Да, слушаю.

Говорил президент — со своей загородной виллы, той самой, где водились черные лебеди и цвели черные тюльпаны.

— Ну, натворил дел!

— Я не мог...

— Оставь декламацию для любителей декламации. Зачем полез? Давно сказано — не поддавайтесь первому движению души, оно всегда благородно. Ладно, все уладим. Переработался, тяжелое мозговое переутомление... полная невменяемость...

— Позволь...

— Нет уж, не позволю. Дам команду Медику, они подберут соответствующую терминологию... Подашь прошение о помиловании в почтительных выражениях. Это придется сделать. Шефу это будет приятно. Может быть, даже обойдется дело без изоляции. Или на самый короткий срок. Но одного ты добился, умник, — у тебя отнимают... твоего ребенка. Ты меня понимаешь?

— Понимаю.

— Придется расстаться. Теоретическую часть, возможно, со временем удастся отвоевать, оставить за тобой, а вот мастерские и этот самый... твоё детище...

— Кому же? Ученику?

— Зелен еще. Нет, вице... Ясно?

— Ясно.

— Эта лиса давно подбиралась к винограду. Надо отдать тебе справедливость, ты ему сильно облегчил задачу. Словом, оставайся дома, лучше всего ляг, лёд на голову. Кто придет — ты в забытии. Без меня — ни одного слова! Ну, не падай духом. Неужели ты думал, что я могу тебя покинуть в беде? Не такая я свинья. Ложись!

Человек опустил трубку на рычаг и пошел вниз к Зверю.

Так, так. Значит, президент уже знает. Быстро. Или у него свои источники информации?

Перед алюминиевой вертушкой, где стоял охранник и проверял пропуск, Человек чуть замедлил шаги, сердце его сжалось — вдруг уже сообщили? Вдруг есть рапортование не пускать?

Охранник, белокурый солдат, даже не взглянул на пропуск и почтительно, как обычно, приложил руку к каскетке. Он был молод. Его глаза восторженно смотрели на знаменитого конструктора, ученого в расцвете славы, первооткрывателя подземных путей. Вот это жизнь, вот это настоящее счастье.

Дежурным по ангару и стартовому полю Человек сообщил, что хочет вывести Зверя в небольшую непредусмотренную прогулку, просто так, без заданной цели. У него свои соображения. Маршрут он фиксировать не будет. И в диспетчерском журнале в графе «Маршрут» написал: «Произвольный, с включенным Большим Ориентиром». Это означало, что маршрут потом невозможно установить, воспроизвести.

Зверь ни о чем не спросил.

Они погрузились. Приборы работали как положено. Ход был чистый.

— Тебе надо научиться новому, — сказал Человек.

Щелкнуло реле, и неторопливый металлический голос ответил с недантичной серьезностью:

— Я рад научиться новому.

— Надо забыть. Тебе надо забыть то, что я сейчас сделаю.

После паузы голос Зверя ответил так же четко, бесстрастно, как всегда:

— Но я не умею забывать. Мне это не дано. Ты должен знать — я не умею ни забывать, ни ошибаться. — Что-то шумно вздохнуло внутри Зверя. — Я несовершенен по сравнению с человеком.

— Ты умеешь страдать. Кто наделен страданием, тот может все. — Человек нагнулся к микрофону, сказал настойчиво, тревожно: — Ты можешь научиться... ты должен научиться лгать. Помоги мне.

Зверь долго молчал. В боковых иллюминаторах мелькали рыжие глиняные срезы. В передней смотровой щели фиолетовое круглое пятно луча вибрации плясало на такой же рыжей стене — она поддавалась, оседала под действием луча, давала трещины.

Раздался щелк реле.

— Мне это очень трудно. Ты не заложил в меня это.

Человек сказал совсем тихо, как бы про себя:

— Мне тоже многое... трудно.

— Я постараюсь. — Опять глубокий протяжный вздох родился где-то во внутренностях Зверя, поднялся до высшей точки и угас. — Хорошо, я научусь.

— Я сейчас выйду. Выйду и спрячу одну вещь. Помни, если тебя будут спрашивать — ты ни о чем не знаешь, ничего не видел. В эту последнюю нашу с тобой проходку... — Прозвучали эти слова не особенно твердо, и Человек повторил: — В последнюю нашу проходку я не останавливал тебя, нигде не выходил, ничего не прятал в районе сброса. Вообще ходили мы не в район сброса, а в противоположную сторону. Ты запомнил?

Через час с четвертью они вернулись на поверхность. Ученик, как обычно, ждал у стартовой воронки, хотя погружение было внеочередное, неожиданное.

— Мне сказали... Я прибежал...

Он привычно осмотрел лапы Зверя, его веки, вошел в кабину и взглянул на показания приборов.

— Ходили больше часа. А километраж небольшой. Неполадки были? Останавливались?

— Нет, — нехотя сказал Человек,

— Как кожаха перегрелись. Как будто Зверь шел без фиолетового луча, своими силами...

Зверя отвели в ангар. Человек зашел к нему, как был, в своем алом рабочем комбинезоне, их оставили одних.

— Устал на обратном пути? Без луча вибрации?

— Нет.

На грубом панцирном кожном покрове Зверя выделялись более светлые участки, свежие, подсаженные взамен поврежденных. Вот это большое пятно — Зверь ободрал себе бок, когда они вместе продирались сквозь габбро и чуть не погибли оба, когда Человек лишился левой руки. Эта серия мелких пятен — проводили испытания на большую глубинность погружения, Зверь страдал, но терпел, не жаловался. Эта царапина — Человек еще только учился водить Зверя с помощью одной руки, сделал неверное, неточное движение...

— Вот так, — Человек прижался лбом к плечу Зверя, к жесткой медно-бурой коже. — Вот так.

И тишина наступила в ангаре, никто не шевелился: ни Человек, ни Зверь. Обоим было больно.

Косые лучи солнца, проникая сквозь стеклянный потолок ангара, освещали что-то большое, грубо очерченное, неразборчивое, не то спящего носорога, увеличенного во много раз, не то просто огромную кучу кож, наваленных для просушки, а рядом с этой кучей, притулившись к ней, прижавшись лицом, плакал человек в алом комбинезоне. Однорукий сидящий человек, уже немолодой, очень одинокий, теряющий все лучшее, что было в жизни. Плечи его тряслись от рыданий, но ни звука не было слышно.

Время шло.

Щелкнуло реле Зверя.

— Тебе пора. Еще чертежи...

— Что? — Человек выпрямился, провел ладонью по лицу. — Чертежи? Да.

Уйти все-таки было трудно. Труднее, чем он думал.

Еще один, последний раз Человек зашел в кабину, где он знал столько трудных и счастливых часов. Потрогал правой рукой клавиатуру. Захотелось что-то взять на память. Что? Он снял с крючка маленькое круглое зеркало, которое висело перед местом водителя и давало возможность видеть заднюю стену кабины. Теперь все. Человек ушел не оборачиваясь.

В комнате отдыха Ученик отстегивал ремни на комбинезоне Человека, распутывал трубки, предназначенные для присоединения к кислородному баллону, раздергивал крючки — Человеку было трудно самому снимать сложное снаряжение, управляться с одной рукой.

Ученик ползал где-то внизу, длинными руками ловко вытягивая шнурки из многочисленных дырочек, в которые они были продеты. Он никогда не путался в этом хитросплетении шнурков. Человеку видна была только его светлая макушка и узковатые подвижные плечи, обтянутые джемпером.

— Я давно хотел с тобой поговорить, — сказал Человек, — да все как-то... Мы были погружены все эти годы в доделки, преодолевали одно за другим частные препятствия, и недосуг было подумать об общем смысле нашей работы, о целях. Это моя вина, как твоего учителя. Недра земли до сих пор были недоступны для исследователя, гипотезы о внутреннем состоянии геологи и физики выдвигали, основываясь на косвенных признаках. Как ни странно, для человечества оказалось труднее познать глубины Земли, чем определить состав и температуру звезд, удаленных от нас на миллиарды миль. Но скоро все должно измениться.

Ученик снял комбинезон и разложил его на диване. Плотский алый человек — без лица, но с капюшоном — смиренно лежал на диване, сверкая медными пряжками ремней, и слушал, что говорит учитель.

— Конечно, можно начинить подвалы нашей планеты взрывчаткой. Можно перенести туда, в подземную тишину, свары и дразни человеческого общежития, нагородить там границы, наставить заставы. Можно попытаться с помощью новых технических средств подавлять восстания и развязывать войны. Можно направить стрелу подземного удара на Страну Востока, Страну Свободы — ведь ветер опасных идей, как любит говорить Глава Государства, дует оттуда, тучи идут с Востока. Можно вообще к чертям взорвать наш маленький шарик, не так трудно. Но ученый обязан...

Ученик поднял на него невинные безмятежные глаза, сказал с пристойной грустью:

— Все это очень интересно, очень. Мне хотелось бы слушать и слушать, даже записывать, если вы позволите. Но как раз сегодня брат моей матери... золотой старик, наш любимый старый дядя...

— Заболел, конечно?

— Так неудачно сложилось, что...

— Иди, катись. Господи, да не сержусь я совсем, как будто я тебя первый день знаю, ты такой, какой есть. Нет, не сержусь, — сказал он и почти выпихнул Ученика из компании.

— Завтра обязательно... — донеслось уже из-за двери.

— Да, да. Завтра.

В окно было видно, как Ученик пробежал по двору, мотая длинными руками, поглядывая на часы. Потом он появился уже по другую сторону ворот, с букетом сирени, обдергивая дикменер, наскоро приводя в порядок шевелюру. Ученик дарит цветы? Да еще прихорашивается? Это было что-то новое. Кто же она?

Появилась Русалка в своем белом открытом платье, с растрепавшимися косами, перекинутыми на грудь, взяла из его рук охапку сирени. Ах, вот оно что. Маленькая белая фигурка, перетянутая в рюмочку, самостоятельно, независимо двинулась вперед, а он, длинный, торопился за ней, почти тенью и даже покорно изогнувшись, слушая, что она говорит.

Вот и все. Зашли за угол. Теперь все.

Со Зверем он простился. С Учеником простился. Дел остается все меньше и меньше. Что еще? Несгораемый шкаф.

Надо спешить. Это надо успеть.

Он поднялся на лифте наверх, зашел к начальнику охраны и попросил ключи от сейфа — кое-что посмотреть по чертежу. Даст или не даст? Получил уже указание или не получил? Человек был единственный, кто имел право доступа к сейфу в любое время. Начальник охраны, здоровяк-полковник с выдающейся вперед челюстью и кирпично-красным цветом лица, медлил, перебирал какие-то бумаги на столе, открывал и закрывал ящик. Нарочно медлит? Это подстроено? Потом ушел и очень долго, как казалось Человеку, не возвращался.

Будет глупо, если сейчас... Если все сорвется в последнюю минуту.

Человек кусал ногти, ждал.

Полковник вернулся, держа в руках металлическую коробку с ключами от комнаты и от сейфа. Позвонил телефон. Подкидывая на ладони коробку, он снял трубку. Глаза его забегали, ответы были односложными, явно принужденными: «Да... пожалуй... м-м, постараюсь... не знаю... по обстоятельствам». Человек похолодел от напряжения, он не мог оторвать глаз от коробки на большой красной ладони полковника, sinistra стала мокрой. Полковник с неожиданной решимостью, багровея уже до полного наказания, с пламенеющей шеей и даже

ушами, сказал в трубку: «Дорогая, очень прошу. У меня люди. Позвони позднее. И условимся...»

Тихо положил трубку на рычаг и с неловкой улыбкой на тяжелом, как утюг, лице, пожевываясь, отдал ключи Человеку.

— Вас проводить прикажете?

Он явно чувствовал себя виноватым.

— Спасибо. Я сам.

В сейфе лежали листы чертежей — на каждом государственная печать и подпись Главы Государства. Человек перебрал листы, взял один, беспощадно сложил его вдвое, потом вчетверо, и еще, еще. Пиджак немного оттопыривался, по два часовых, стоящих в коридоре у дверей комнаты, не обратили на это внимания. Хорошо, что он однорукий, пиджак все равно сидит не так, как у других, мешковато, да и рукав засунут в карман, прикрывает.

У себя в кабинете Человек сжег чертеж, орудуя спичками, потом еще кое-какие бумаги, письма. Убрал пепел. Ну вот, теперь готово. Он спрятал на глубине Ока, излучающее фиолетовый свет, посылающее мощный луч вибрации, — и никто никогда не узнает, где именно спрятал, никто вообще не додумается, что оно под землей. Теперь уничтожил чертеж, расчеты — нет в стране человека, который мог бы восстановить Ока, кроме него самого (да и то на это понадобилось бы много месяцев работы). Фара на груди Зверя осталась, но теперь она была мертва, бесполезна (без Ока Зверь терял все — глубину, скорость, силу). Конечно, остановить развитие технической мысли нельзя, конечно, рано или поздно все равно ученые страны найдут, изобретут, выдумают луч вибрации — такой же или иной, может быть, даже лучший. Но когда это будет?

Во всяком случае, вице-президенту придется пережить разочарование: в ближайшее время явно не удастся продемонстрировать Зверя «где-нибудь в южных районах».

Теперь можно было подумать и о себе, о своей судьбе — раньше просто не было времени. Смертная казнь? Или пожизненное заключение в крепости? Он содрогнулся, этот второй вариант показался ему особенно страшным. Пожизненное заключение в одиночке. Говорят, там нет окон. Раньше обливали себя керосином и сжигали. Теперь электричество — как-никак двадцатый век, прогресс. Умереть нельзя, это запрещено.

Пройдет какое-то время, они узнают про Око, про чертеж. Пожалуй, начнутся пытки. Он думал об этом трезво, точно, как будто речь шла о постороннем человеке. Для него лично выгоднее смерть — быстрая смерть. Военный трибунал, следствие на скорую руку... Сколько это может продлиться? Неделью, три, месяц? Интересно, какое они ему предъявят обвинение, как это все будет состряпано. А впрочем, не все ли равно? Результат один.

Он подошел к окну. И вдруг в нем поднялся дух протеста, запоздалое мучительное сожаление. Сломал свою жизнь, растоптал работу. Зачем? Во имя чего? Кому это надо? Опять шел дождь, внизу ползли зонтики — не только черные, попадались и серые, так всегда бывало весной. Склоненные, точно в поклоне, кругло изогнутые спины, серо-черные спины покорного овечьего стада, которое, теснясь, движется неизвестно куда и зачем, живет, чтобы жить.

В дверь постучали.

— Да, войдите.

Ползли и ползли зонтики, сплошняком, один к одному, молчаливые, равнодушные, повторяющиеся.

Белокурый солдат был явно растерян.

— Там... за вами...

Человеку захотелось успокоить этого юнца, который еще два часа назад смотрел на него влюбленными глазами.

— Все в порядке. Все идет как надо. — Он вернулся, взял со стола маленькое круглое зеркало, положил его в карман. — Я готов.

11. НАКАЗАНИЕ ЗАБВЕНЬЕМ

Суд был скорый.

Ему предъявили обвинение в антипатриотических настроениях и антиправительственной деятельности.

Прошло десять дней с того момента, как его арестовали.

«Однако шеф торопится», — подумал Человек, входя в огороженный барьером загончик и садясь на деревянную скамейку без спинки.

В зале было пусто. Даже президента не допустили: его дружба с подсудимым была хорошо известна.

Выступали четыре свидетеля обвинения. Свидетелей защиты не было.

Вице-президент, в академическом спортуке, но без орденов (видимо, не надел из соболезнования), говорил тихо, но внятно, с мягкими ласковыми интонациями. Как ему ни больно, но он вынужден сказать правду. Подсудимый обладает талантом... м-м, известными способностями, но является человеком, морально растленным, сухим скептиком, и рационалистом, и даже, говорят... страшно сказать... атеистом. На его мастерские и лаборатории затрачены большие государственные средства, а результаты, в сущности, незначительные. Тот, кто отвернулся от бога, может ли честно служить народу? Есть основания думать, что крупные суммы присвоены лично подсудимым. Есть основания думать, что у подсудимого были связи с эмигрантскими группами — при обыске найдено довольно много марок, оторванных от конвертов, со штампами преимущественно итальянскими, а в Италии, как известно, немало эмигрировавших из нашей страны лиц, враждебных Главе Государства...

Человек не стал говорить, что собирал марки для сына сторожихи. Это было бесполезно.

Вторым давал показания пожилой усатый мужчина с незапоминающимся лицом, служащий при ангаре, которого Человек видел изю дня в день вот уже двадцать лет, но с которым, кажется, ни разу не обменялся репликами. Он не помнил, чтобы когда-нибудь слышал его голос. Усатый добросовестно докладывал, сверяясь с записной книжкой, что сказал Человек такого-то числа в таком-то часу по поводу передовой статьи правительственной газеты («Чушь собачья»); как он не одобрил такой-то дипломатический демарш Главы Государства («Сели в лужу»); как позволял себе всякие ненужные рассуждения, крамольные политические высказывания («Печально, когда власть авторитета заменяется авторитетом власти»). Все это была правда или почти правда, собранная кропотливо, с трудолюбием и добросовестностью муравья.

«У него, наверное, семья, дети, — думал Человек, с интересом разглядывая это незначительное, незапоминающееся лицо с кляксой усов. — А жалованье маленькое. Оп, наверное, советовался ночью с женой, когда его нанимала полиция. И жена говорила: «Иди, конечно. У парня ботинки совсем

прохудились, дедушке нужно усиленное питание. А приличная говядина, знаешь, почему сегодня была на рынке?»

Третьей вышла очень красивая, сильно накрашенная молодая дама, неизвестная Человеку, нарядно одетая, в черных перчатках выше локтя и затейливой шляпке с вуалеткой.

— У меня была связь с подсудимым. Он бывал у меня по средам и субботам. Он постоянно говорил, что ненавидит правительство, всех членов правительства и Главу Правительства. Хотел бы их уничтожить, взорвать вместе с Дворцом Республики, ввести анархию. Чтобы все женщины были общие, а во всех храмах сделать писсуары. — Она откинула вуалетку и, поправив длинную черную перчатку, набожно перекрестилась. — Я сразу поняла, что он агент коммунистов, завербовал красными, получает деньги и указания оттуда, с Востока...

Последним вышел Друг. Они дружили с Человеком давно, со школьной скамьи. Друг был неудачливый коммивояжер, часто оставался без работы, еще чаще терял чужие деньги или хозяйские товары, и Человек постоянно его выручал, давал деньги, ходил куда-то за него объясняться, привозил докторов к его несчастной, исплаканной, кашляющей кровью жене.

Друг давал показания, правда, не глядя на Человека, но довольно уверенно, с коммивояжерской бойкостью. Человек ему не раз признавался, что готовит покушение на Главу Государства. Собирается или застрелить его, когда тот следующий раз придет смотреть мастерские, или взорвать... пу, как его... этим...

— Лурдитом, — подсказал судья, морщась.

— Вот-вот. Причина — Человек был обижен на Главу Государства, потому что рассчитывал стать если не вице-президентом Академии Наук и Искусств, то по крайней мере одним из двенадцати членов президиума, а этого не произошло.

— А не потому ли он готовил покушение, — высочил прокурор, — что не было свободы личности?

— И это тоже. Да, да! Насчет личности он очень часто говорил, припоминаю.

Вяло пробормотал несколько слов защитник, назначенный на эту роль судом без согласования с Человеком. Да, подзащитный заблуждался... совершал... Но впредь никогда... Передуманное и перечувствованное в узилище...

Произнес короткую речь прокурор.

— Отказался подать просьбу о помиловании. Отказался повесить на шею нательный крест, который выдается вместе с тюремной одеждой. Враг общества, враг порядка...

Суд удалился на совещание.

Человек смотрел в окно — виден был только квадрат неба, летал пух от тополей, мелькнула и пропала какая-то птица, быстрая, свободная.

Приговор гласил — смертная казнь.

Друг схватился за сердце, по щекам его текли жалкие слезы.

— Я не думал... прости...

Его быстро увели. Все это не имело ни малейшего значения.

Красивая накрашенная дама, проходя мимо Человека, отколола от платья ветку сирени и положила перед ним на барьер. Никто ее не остановил.

Он взял с собой эту ветку в камеру. Но она тут же завяла.

В тюрьме не живут цветы. В тюрьме выдерживают только люди.

Человек сидел в камере с толстыми стенами и узкой щелью окна, наглухо заделанной дощатым щитом. Пол был скользкий от сырости, бегали крысы. Сверху свисала на шнуре электрическая лампочка, беспощадно освещающая голые углы, койку, кружку с ложкой. Писать и читать не разрешалось.

После полуночи шаги в коридоре поутихли, глазок в двери стал реже открываться. Натянув на себя одеяло, повернувшись лицом к стене, Человек достал маленькое круглое зеркало — то самое, которое он снял в кабине Зверя, когда прощался. Прислонил к подушке.

В зеркале появился Зверь.

Нет, это сказано неточно — ведь Зверь был огромный, а зеркало маленькое. Появилась часть Зверя, кусок Зверя — то, что могло уместиться, вписаться в небольшой кружок. Еще точнее — появился глаз Зверя с тяжелым, выдающимся вперед бронированным веком, похожий на глаз крокодила.

— Ну вот, — сказал Человек и чуть усмехнулся. Он был очень доволен, что видит Зверя, и толстые тюремные стены сразу куда-то отодвинулись. — Вот так. У тебя никого?

Еле слышно щелкнуло реле.

— Никого. А у тебя?

— Тоже. Я ведь в одиночке. — Человек готов был даже похвастаться такими исключительно благоприятными условиями. — Как дела? Еще не заметили, что фара пустая? Не осматривали тебя?

Нет, его никто не осматривал. Сейчас им не до него.

— А суд уже был? — спросил тихий голос с отчетливым металлическим привкусом, далекий приглушенный голос Зверя.

— Не был, — после паузы ответил Человек.

Он не любил говорить неправду. Но зачем их волновать раньше времени? Когда узнают, тогда узнают.

Глаз, похожий на глаз крокодила, часто замигал.

— А Русалка плачет. — Человек скорее угадал, чем услышал глубокий вздох. — Русалка теперь все плачет.

— Хм. — Человек нахмурился, дернул плечом. Стал кусать ногти. — Значит, с тобой никто не занимается, никто не повторяет пройденное? Ну-ка, отвечай, для изготовления твоего костяка какие потребовались сплавы?

Опять раздался треск реле — едва уловимый, игрушечный. И тихий металлический голос начал перечислять твердо, чисто, немного замедленно, с серьезной исправностью первого ученика:

— Пермендюр. Перминавр. Сендаст или альсифер. Виекэлой. Хромаль жароупорнее, чем фехраль. Кунифе. Кунико...

«Как по писаному». На душе у Человека потеплело.

— Ну, прилично. А особые свойства альсифера?

Зверь ответил на все вопросы. Потом сказал, как всегда, бесстрастно:

— Чтобы тебя утешить, я тебе спою. — Никогда раньше он не пел при Человеке, не предлагал ему этого. — Песня хороша, она бодрит. — Это были правильные — чересчур правильные — фразы иностранца, который осваивал язык по карманному разговорнику. — Вот теперь послушай.

И запел:

Захвати-и с собой улыбку на дорогу...

Далекий металлический голос дребезжал тоже немного игрушечному, приглушенно — как будто дрожал не громящий лист железа, а сухо шелестящий листок фольги.

...Приговор был опубликован во всех газетах. Внизу стояло «Обжалованию не подлежит».

Академия Наук ходатайствовала перед Главой Государства о замене смертной казни через повешение на пожизненное заключение в крепости, принимая во внимание талант подсушимого и его прошлые заслуги перед родиной. На этот раз первой стояла фамилия президента академии.

Дело подали на подпись Главе Государства. Он сидел за шахматным столиком, разбирал этюд. У ног его на ковре лежала борзая, вся удлиненная, очень породистая, с умной узкой мордой, с подобранным животом; она, вытянувшись, напряженная, как струна, сторожко косилась на секретаря.

— Что у вас? Ах, это. — Он взял досье, перелистал бумаги.

— Сегодня как раз истекает срок... — начал секретарь.

— Знаю. Молчать, тубо! — это уже относилось к собаке, которая зарычала (возможно, секретарь по неосторожности подошел к ней слишком близко.) — Если будешь ворчать, пошла вон...

Лампа освещала квадраты доски, несколько фигур, собаку на ковре, высокий голый лоб Главы Государства и его впалые щеки, руку с длинными гибкими пальцами, которая держала самопишущую ручку.

— Не стоит плодить мучеников. Они опасны, — сказал Глава Государства. Вычеркнул слова «смертная казнь через повешение» и задумался. Золотое перо повисло над листом бумаги. — Пожизненное заключение? Почти то же самое. Ореол страдания... Ну, вот так. Наказание забвением. — Он аккуратным бисерным почерком вписал несколько строк, поставил свою подпись. Обернулся к секретарю, который стоял у его плеча с пресс-папье наготове, молчаливый и преданный. — Помяните мое слово, через десять лет никто в стране не сможет вспомнить, как его звали и чем он занимался. Будут говорить: «Какая-то давняя история... этот... как его...» — Он процитировал старинные стихи: — «Река веков стирает равнодушно следы людские на песке...» — И пока секретарь промокал написанное, тонкие губы хозяина тронула знающая, умная, скверная улыбка. — А если бы я его убил... — труп, он стал бы знаменем. Вошел в анналы истории. Нет, не будем так милосердны, верно? Человек без родины... Позабутый человек... — Премьер резко захлопнул папку с деловыми бумагами и, расставляя длинными гибкими пальцами фигуры,

с удовольствием, со вкусом стал рассказывать о тонкостях в решении этого красивого, оригинального этюда.

Ночью Человеска подняли с его тюремной койки, отвели в канцелярию и там прочитали приговор. Вместо смертной казни — изгнание за пределы страны без права когда бы то ни было вернуться обратно. Он лишается всех своих орденов, всех чинов и званий — в том числе звания Создателя Зверя. Предается забвению самое его имя, вычеркивается из всех официальных документов, выскабливается во всех ранее вышедших книгах, впредь никогда не упоминается ни печатно, ни устно. Отныне подсудимый не имеет имени; если нужно к нему обратиться, приказано именовать его просто человеком. Приговор должен быть немедленно приведен в исполнение.

Его вывели во двор. Низко стелились серые тряпичные облака, звезд не было видно. Начинало светать. Человека должны были сопровождать в пути два солдата — чтобы он ни с кем не общался, пока не выйдет за пределы страны.

Вынесли его вещи. Их было порядочно: за это время многоопытная мать Ученика притащила на всякий случай толстую войлочную куртку, рабочие ботинки на грубой подметке, старое одеяло, солдатский заплечный мешок. Президент прислал консервы, настоящий шотландский плед, красный с белым, в изысканную клетку (по-видимому, о тюрьме у него все-таки было не особенно точное представление) и шерстяное белье. Человек надел на себя, что мог, остальное запихал в мешок. Попробовал поднять — тяжело, самому не закинуть на спину. Попробовал еще раз... Два солдата, два молодых здоровых парня, расставив ноги в начищенных сапогах, стояли и смотрели, как он тужится, им и в голову не приходило подпихнуть мешок. Преступник есть преступник, это ведь не человек — не совсем человек, — и помогать ему не положено.

Что ж, значит надо привыкать к такой жизни. Человек подавил раздражение, выкинул две трети скарба и взвалил мешок на плечи; открылись ворота, он вышел первым, солдаты — на несколько шагов позади.

Город, серый с розовым (розового становилось все больше), подернутый утренним туманом, точно дымком хвойного костра, зыблущийся, был почти пустынен. Машины поливали его, терли и чистили щетками, готовя к рабочему дню. Сзади слышался четкий солдатский шаг, стук подкованных каблук-

ков об асфальт. Человек шел путем своего триумфа — когда-то тут вели Зверя, летели розы, первый министр, сидя с ним рядом в открытой машине, прочувствованно пожимал его руку своими тонкими гибкими пальцами...

На площади убирали — видно, не так давно кончились танцы, стояли кверху ножками столы и стулья, валялись стаканчики из-под мороженого, конфетные бумажки, всякий пестрый сор; в раковине эстрады спал толстый музыкант, обняв контрабас. На секунду Человек прикрыл глаза — увидел кровь, трупы, которые грузили в мебельный фургон, надпись на этом фургоне: «Спальни для новобрачных»... Дворец Республики стоял с опущенными маркизами во всех окнах, многоколонный, непоколебимый.

Они шли мимо старинного здания Университета с островерхими высокими крышами и шахматными башнями — когда-то здесь помещался монастырь. У входа висели мраморные доски, на которых золотыми буквами были выбиты имена выпускников, прославивших свою альма матер, ставших видными учеными, академиками, лауреатами международных премий. На одной из досок бросался в глаза пробел между теснящимися фамилиями, свежее выскобленная строка. Уже успели. Молодцы, четко работают, не зря едят хлеб Главы Государства.

Показался порт — доки, элеваторы. Дети не играли на ступенях, спускающихся к порту, — дети еще спали. Пьяный моряк, цепляясь за фонари, добродушно напевал: «О, подле моей рыженькой не очень-то отоспишься». Человек миновал поворот, который вел к таким знакомым местам, к его дому, дому Зверя, твердо пошел другой дорогой. Уже на выходе из города свернул на кладбище, постоял возле старой могилы, заросшей, почти сровнявшейся с землей. За ним переминались с ноги на ногу оба солдата. Кашлянув, один из них сказал беззлобно, больше для порядка: «Давай, давай, человек, поторапливайся». Его ведь теперь велено было именовать — просто человек.

В десять часов утра Ученик, что-то узнав или почуввав, примчался в тюрьму вместе с Русалкой. У окошка они назвали имя Человека и напряженно ждали ответа, держась за руки, переплетя пальцы.

— Такого нет, — равнодушно сказал чиновник в форме тюремного ведомства. — Такого имени не знаем, не значит-

ся. — Скользнул взглядом по лицу Русалки, точно смазал масляной тряпкой. — Такого нет в нашей стране.

И с грохотом опустил железную шторку.

Им ничего другого не оставалось, как повернуться и уйти.

Но железная шторка неожиданно поднялась все с тем же грохотом, и чиновник окликнул их:

— Вернитесь.

Они теропливо подошли к окошку, Ученик и Русалка, по-прежнему сцепив руки.

— Вы родственники? — спросил чиновник, не глядя на них, перебирая бумаги. — Тогда можете получить вещи по списку. Номер один — плед клетчатый, красно-белый. Номер два...

В это самое время Человек и два солдата подошли к неширокой пограничной реке. Оба берега поросли вереском, но по ту сторону это была уже чужая земля, чужой вереск. Человек шагнул на паром, встал рядом с перевозчиком. Колесо завертелось, заставляя трос дрожать и колебаться, вспенилась вода. Берег стал отдаляться. Возле солдат стояла пожилая босногая женщина в драной юбке и смотрела из-под руки вслед парому, ветер теребил ее рыжие волосы.

Когда паром отошел на середину реки, Человек стал что-то кричать. Ветер относил слова, их не было слышно.

— ...ерка-а...

Он так отчаянно метался по парому, что даже на солдат это подействовало, но они не могли понять, в чем дело. Поняла рыжая женщина. Она нагнулась, пошарила жилистой рукой в траве — блеснуло маленькое зеркало. Зеркало Зверя! Человек выронил его, когда перекладывал мешок.

— Э-го-го! — солдат размахнулся что есть силы и бросил зеркало.

Оно попало на край парома, подпрыгнуло — треснуло от удара. Человек, упав ничком, схватил его одной рукой и убе-рег от падения в воду.

Паром причалил к берегу. Человек надел лямки мешка, перепоясал потуже куртку, заправил левый рукав в карман и зашагал прочь. Оглянулся, махнул рукой солдатам, женщине. И последним приветом родины были для него ее взлохмаченные рыжие волосы на фоне серого влажного неба.

Едва он успел скрыться из виду, как в небе показался вертолет. Вертолет опустился почти по вертикальной прямой и встал на берегу у самой кромки воды, все медленней вращая винтами. Выскочил очередной рослый адъютант, весь в коже и ремнях, привычным жестом десантника положил руку на бедро, на кобуру.

— Где он? Приказано задержать и вернуть.

Обнаружилась пропажа Ока.

12. ПУТНИК ШЕЛ ПО ЕВРОПЕ

Путник шел по Европе.

Шел по вересковым пустошам, по торфяным болотам и топким лугам с разбросанным там и сям гранитными валунами, шел по округленным каменным холмам, едва прикрытым кое-где тонким слоем почвы, шел мимо озер, вытянувшихся длинными цепочками, с извилистыми заросшими берегами.

Вереск весь в цвету стелился низким лилово-розовым дымом — ведь была весна.

Путник шел по берегу моря — тут свистели ветра и передвигали с места на место ряды дюн, посылали в наступление строй огромных холмов из мелко просеянного, почти белого песка.

Он шел мимо плотин и дамб, удерживающих валы моря, мимо шлюзов, шел вдоль каналов — каналы перекрещивались и расходились по плоской, как стол, равнине, про которую здешние старики говорили: «Бог создал море, а человек — сушу». Шел через леса и перелески, буковые, дубовые, встречающие его прохладной тишиной, и через большие города, обдающие его шумом, обжигающие огнями, проносящиеся стремительно назад, по мере того как он шагал вперед, города, остающиеся на горизонте облаком света, неясным скоплением мерцающих, дрожащих, как будто перебегающих блесток и бликов, которое снижается, снижается, никнет, исчезает совсем, последний раз бросив в небо слабый пучок отсветов.

Путник видел старинные соборы, дырчато-игольчатые, как кружевная мантилья, и современные заводы, прямоугольные и тяжелые, как чугунная болванка. Видел автострады, убегающие линии железных дорог, терриконы шахт, массивные башни домен, поля, прозелень которых, когда подымался ветер,

уже отливала желтизной, золотом зрелости. Видел оплывшие окопы — память о прошлой войне, и огороженные глухим забором полигоны — напоминание о войне будущей.

Путник шел по Европе.

Чем он жил? Случайной работой на ферме? Милостыней? Воровством?

Шел по шоссе — в пропыленных грубых башмаках, солдатский мешок за спиной, левый рукав засунут за пояс, скатка одеяла через плечо.

Не накладывай в котомку слишком много.

Ведь не день,

и не два

и не три —

вечность целую иди...

Шел по шоссе — отросшие волосы и борода в пыли, не поймешь, седоватые они или совсем седые, — глаза сощурены — шел, пил из придорожного родника, подставлял под струю свой широкий квадратный лоб, коричневый от загара, заглубевший; шарил по карманам, не отыщется ли корка хлеба. А крошки? Должны же быть крошки. Да нет, съел еще на том перегоне.

...Захвати с собой улыбку на дорогу,

Ведь не раз,

и не два,

и не три

затоскуешь ты в пути!

По ночам страшный путник, накрывшись одеялом, как будто разговаривал с кем-то. Спал он, положив голову на маленькое дешевое круглое зеркало, самое обыкновенное зеркало, да еще к тому же разбитое, пересеченное трещиной, — давно его следовало бы выкинуть. Утром вставал, прятал зеркало в карман и начинал дневной путь.

Созревшие хлеба тяжело клонились к земле — ведь наступило лето, хмель висел по шестам на высоких берегах чужой спокойной ночи, наливался соком виноград, сушились бочки. Тут жили люди. Нуждались, маялись, радовались. Работали, делали свое дело, выращивали ребятшек, хоронили стариков на ближнем кладбище. Многие, наверное, никогда не выезжали за пределы своей округи. А он проходил мимо, не

оставляя следа, человек без места на земле, без дела, без цели. Без родины. Позабывший человек.

До сих пор путник шел с Севера на Юг. Теперь повернул на Восток. Как это говорил в своих речах Глава Государства? «Тучи идут с Востока». Но народная пословица говорит другое: «С Востока приходит солнце».

Однажды в середине дня он шагал по окаменевшим глинистым ухабам развезженного проселка, уже порядком измученный, а по меже между двумя полями пробирался другой прохожий. И что-то странное было в этом прохожем... Что-то удивительно знакомое. Ага! Тоже однорукий. Тоже нет левой руки, и пустой рукав заткнут в карман.

Прохожий вышел на дорогу — немолодой, грузноватый. Он был южанин — гладкие иссиня-черные волосы, крупный нос с горбинкой, грустные, много повидавшие влажно-черные глаза. На нем был изношенный, когда-то дорогой костюм и разбитые узконосые ботинки, подвязанные веревками. Свои пожитки он нес на палке в узелке.

— Я с Юга, — сказал прохожий осторожно.

— Я с Севера.

Постояли. Помолчали.

— Туда?

— Да, туда...

Оба шли на Восток.

Ни о чем не стали друг друга расспрашивать, зашагали рядом.

Уже ближе к ночи Южанин, показывая на свой пустой рукав, сказал как-то бегло, между прочим:

— Несчастный случай. Эксперимент. Была идея — осуществить восхождение по солнечному лучу, нейтрализовав земное притяжение при помощи формулы Гинделя — Кондзюро. — Он помешал жижу в консервной банке, укрепленной на рогульках костра. — Точность расчетов оказалась недостаточной... — Попробовал жижу, одобрительно кивнул головой. — Ну, ничего, с одной рукой не так уж трудно. С одной правой рукой.

Оба были изгнанники, изгой. Шли — не помню откуда, брели — не знаю куда. Отчего было не идти вместе?

С этого дня Человек уже не чувствовал себя таким бесконечно одиноким. Ему было о ком заботиться. А у сильных людей эта потребность особенно сильна.

Путники шли по Европе. У них были две руки — на двоих. И одно старое одеяло. В пыли дорог они чертили чертежи, от которых побледнели бы многие правители, и писали формулы, за которые эти правители не пожалели бы отдать лучшие камни из своих алмазных запасов. А потом стирали и шли дальше.

Перевалило за вторую половину лета. День стал убывать, темнело заметно раньше, чаще шли дожди. Луга по берегам рек дышали сыростью, затягивались клубами белого мокрого тумана.

Где бы они ни ночевали, Южанин каждый вечер доставал из узла носовой платок, не спеша стелил его себе под голову, расправлял уголки. В своих отрепьях он держался с достоинством и сохранял удивительно интеллигентный, пристойный, профессорский вид.

И разговаривал тоже интеллигентно, по-профессорски:

— Приятный ландшафт... — Это о природе. — Фантомные болевые ощущения... — Это о том, что несуществующая рука может болеть, если вы, мокрый насквозь, укладываетесь на почлег в мокрое насквозь сено. — Печальное отсутствие логики... — Это о хозяйке, у которой они днем попросили какую-нибудь работу и которая спустила на них овчарку.

По ночам Человек вынимал зеркало. Но поймать четкое изображение, услышать внятно голос Зверя было очень трудно — слишком много между ними пролегло сотен и тысяч километров. Все-таки иногда им удавалось поговорить. Зверь скучал по глубине — он теперь редко ходил под землю, и то так, не всерьез, почти у самой поверхности (ведь луча вибрации, фиолетового луча больше не существовало). Зверь скучал по добрым старым временам, скучал без Человека.

Вице-президент еще не появлялся в мастерских, не приступил по-настоящему к своим обязанностям. Он был занят интригами на высшем уровне, проводил дни во Дворце Республики, урывая себе какие-то должности, чины. Давно уже было подавлено крестьянское движение в южных районах. Шла кампания под лозунгом «Выведем плевелы» — это относилось в основном к интеллигенции. Где-то в застенках терялся след Писателя — он позволил себе назвать Главу Правительства «ирокезом, охотящимся за политическими скальпами». Набор его книги «Кампанелла» был рассыпан, рукопись уничтожена. Президент получил годовой отпуск по

состоянию здоровья: по теперешним временам он казался слишком левым. Времена менялись, другие шли к власти, к богатству, почестям.

— Пропажа Ока давно обнаружена. Что они думают предпринять? Какие принимают меры? — спрашивал Человек, тревожась за судьбу Зверя.

— Все благополучно, — однотопно отвечал Зверь. — У нас все благополучно. Дела идут нормально.

И явно не хотел пускаться в подробности.

— Ничего нового?

— Ничего нового. Все благополучно.

Чем дальше — тем больше встречалось по обочинам дорог солдатских могил, одиночных и братских. Тем чаще стоял у развилки Воин-Освободитель — каменный или бронзовый. Тот самый, что шел с Востока на Запад — от утреннего света к вечерним сумеркам. Он держал меч, а чаще — венок, а еще чаще — ребенка. У его ног, каменных или бронзовых, лежал пучок полевых цветов.

Они двигались навстречу осени. Становилось все холоднее, березы — деревья с белой, нежной, почти человеческой кожей — теряли последние листья, мелко дрожали под ветром. Ботинки у обоих были разбиты и, сколько ни подвязывая веревками, ни подцепляя проволокой, — все равно натирали ноги в кровь. Одежда встала, единственное одеяло светилось, расщеплялось на нитки, солдатский мешок то и дело приходилось латать.

...Какой поворот судьбы вытолкнул на большую дорогу Южанина с его изысканно-вежливыми фразами и доброй близорукостью сликовых темных глаз? Этого Человек не знал. И не спрашивал — потому что не хотел сделать больно. Он знал по собственному опыту, как это больно — вспоминать. Фантомные боли.

Южанин не говорил о прошлом. Только один раз обронил:

— В моей стране... там даже оживление используют, чтобы вернуть заключенного к жизни... и продолжать пытаться электричеством. И опять вернуть...

Где-то в пути Человеку попался номер старой газеты. Среди последних известий было сообщение: вице-президент получил титул Создателя Зверя. Человек прочел и угловато пожал плечами. О чем тут говорить? И, разорвав газетный лист пополам, уже совсем было собрался обернуть ступни

ног, чтобы не так стыли пальцы. Но еще раз перечел сообщение — и у него упало сердце. В конце глухо, невнятно говорилось, что Ученик больше не состоит при Звере. Его удалили. Его отстранили. Он не бывает в Доме-Игле, не имеет допуска в ангар.

Человек все понял. Создатель Зверя развязывал себе руки. Тот, кого теперь называли Создателем Зверя. Вице-президент...

Восходила его звезда. Он должен был стать полным хозяином Зверя и любой ценой возродить потерянное Око, вернуть фиолетовый луч — без этого его пышный титул был пустым звуком. Он не хотел короны без королевства. А Ученик, как видно...

— Зверь! Зверь! Зверь! — монотонно выкликал по ночам Человек, нагнувшись над зеркалом, пересеченным трещиной.

На черном небе стояла круглая луна. На черную землю ложились первые снежинки и уже не таяли. В зябкой понурости тонких голых веток было что-то покорное, безнадежное.

Зверь не отвечал. Невозможно было установить связь через те огромные пространства, которые их теперь разделяли. Между ними лежала Европа.

Европа. Слово это происходило от финикийского слова «среб» или «ириб», что значит — закат...

Они шли к восходу.

Южанин отчаянно зяб, у него не проходили ячмени, нарывы. Но он не жаловался и на рассвете, пробивая тонкий ледок, прозрачную ледовую пленку, безропотно стирал свои носовые платки в каком-нибудь бочажке или ручье, как бы ни была холодна вода, — стирал одной рукой, придавливая платки камнем. Человек кашлял неприятным лающим кашлем, когда напал приступ кашля, останавливался, прижимал ладонь к груди, долго не мог отдышаться.

Они тосковали по теплу.

— Если перенести Землю ближе к Солнцу... — говорил Южанин. — Вы понимаете, в сущности, это не так уж сложно. Тогда средняя годовая температура поднялась бы на 7—8 градусов, и мы сейчас...

— Я никогда не занимался этим кругом вопросов, — буднично, деловито говорил Человек. — Вот использование тепла магмы — другое дело, этим я... — И спрашивал: — А вы счи-

таете такое перенесение целесообразным? Полезным для планеты Земля?

— Конечно, поднятие температуры, — рассуждал Южанин, — вызовет, вероятно, бурное таяние полярных шапок. Возможен всемирный потоп. Но у меня есть идея, как это предотвратить. Понимаете...

Южанин мог многое. А вот достать новую подметку к старым ботинкам — этого он не мог, не умел.

Голубели снежные поля, дымясь первой поземкой. Темные, почти черные лапы елей с белыми наростами вздрагивали и роняли снежную пудру, которая медленно оседала. Поскрипывали стволы. Если крикнуть — звук слышался далеко и, казалось, надолго повисал в неподвижном морозном воздухе, точно звучащая оледенелая струна.

Окончательно стала зима.

В это утро беспощадно, жестоко светило морозное алмазное солнце, обжигая глаза, — Человек то и дело прикрывал их рукой, пережидая, чтобы прошла резкая режущая боль. Минутами ему казалось, что он слепнет, теряет зрение навсегда. Они брели, спотыкаясь о корни и выбоины. Все теплое он отдал Южанину, которому приходилось особенно круто, который хуже выносил холод. Ветер мешал идти, пронизывал.

Мысли путались. То ему казалось, что он не здесь, а на каменных ступенях, спускающихся к порту. А что, может, и не было потом ничего? Может, это все дурной сон? Просто вредно спать в сумерки... То он силился и не мог увидеть Южанина и трудно соображал — так все-таки была встреча, был второй однорукий или он его придумал для собственного успокоения? Неясное темное пятно на белом фоне, движущееся вместе с ним... смазанное темное пятно... Так все-таки идут двое? Или идет Человек — один? Одинокий, очень одинокий человек. А рядом на снегу — его тень... Или, может быть, он сам — только тень Южанина?.. Тени... Или оба они мертвые и идут вперед только по привычке? Инерционное движение...

В тишине звучали голоса прошлого. «Она чересчур серьезно относится к жизни». «Вы простудитесь, учитель, возьмите мой плащ». «Пью за избранных — они первенствуют не потому, что хотят этого, а потому, что существуют». «Понять необходимость и простить оной в душе своей». «Спальня для но-

вображных — только у нас». «Эй, глупый баран, не ходи по горам...». «Можно, я буду называть вас — Гай Гракх?»

В кругу елок, где не было ветра, Человек остановился, скинул валдечный мешок. Положил на широкий срез пня зеркало и, как обычно, попытался вызвать Зверя. Он делал так по нескольку раз в день.

— Зверь! Зверь!..

Нет, это было безнадежно. Не стоило и пробовать.

Одеревеневшей от мороза рукой он стал развязывать тесемки мешка. Не глядя, снял зеркало с пня, чтобы спрятать его.

— Разве вы не видите? — закричал Южанин, хватая его за плечо.

Нет, он ничего не видел.

— Зверь... вот же... — Южанин возбужденно жестикулировал, оденло, в которое он был закутан, сползло с его головы, но он ничего не замечал, не чувствовал уколов мороза.

В зеркале медленно проступало что-то неясное, смазанное — как будто любительская фотография не в фокусе. Человек яростно тер свои больные, обожженные солнцем и снегом глаза. Он хотел видеть.

Наконец изображение Зверя проявилось, стало четким. Конечно, не всего Зверя — проявился один глаз, который едва уместился в тесных пределах зеркала, как будто стиснутый металлическим бордюром.

— Я знаю про Ученика, — сказал Человек. — Я прочел в газете. Мне все ясно.

От старой жизни, от прежней жизни, от большой прожитой жизни осталось так мало — вот этот кружок стекла, пересеченный трещиной, диаметром в несколько сантиметров.

В большой мир, который остался там позади, мир его детства, юности, зрелости, мир зрелого творчества, единственный мир, который казался ему реальным, мир города, порта, шумный многоголосый мир людей, голубей, подвижной мир дымов под низким серым небом, мир мокрого черного асфальта и мокрых покатых крыш, — в этот мир вело такое маленькое круглое окошко, такой незначительный иллюминатор.

— Мне все ясно... Так чего они от тебя хотят? Какие принимают меры?

Глаз, похожий на глаз крокодила, с тяжелым, нависающим веком, моргнул. Тихо щелкнуло реле, включаясь.

— Он приходил в ангар. Приходил со мной поговорить. Всех отослал.

Не надо было объяснять, что речь шла о вице-президенте.

— Спрашивал, конечно, о фиолетовом луче? Просил, чтобы ты открыл ему тайну, назвал место, где я спрятал Око?

— Да.

— А ты? — Человек напряженно ждал ответа.

— А я солгал, — с какой-то медлительной важностью, чисто и сухо ответил металлический голос. — Я сказал, что ничего не знаю. Произнес ложь, — по-книжному пояснил Зверь, — потому что ты меня просил об этом.

Голос был слабый, как комариный писк, как далекий звук зуммера.

Человек нахмурился, дернул плечом.

— И он поверил?

Зверь, кажется, вздохнул.

— Нет, он не поверил. — И сказал особенно отчетливо, с нажимом: — За меня не беспокойся. Ничего плохого не будет. Никто не собирается делать мне плохо. Все в порядке. Не надо за меня бояться.

Надо или не надо?

Ведь Зверю были знакомы страдание и боль. Ведь Зверь был смертен — большая, слишком большая потеря крови вела к расстройству аппаратов сознания, к потере сознания, а затем и к смерти. Значит, Зверя можно было пытаться, чтобы заставить сказать то, что он не хотел сказать. Об этом думал Человек. И Зверь знал, о чем он думает, и монотонно твердил свое:

— Все нормально. Все в порядке. Я повторяю, как ты велел... Пермендюр. Перминавр. Сендаст или альсифер... Не о чем беспокоиться. Плохого не будет.

Он добросовестно, старательно, с тяжеловесной серьезностью успокаивал Человека. И от этого становилось особенно тревожно.

— Заходит Русалочка. Часто.

Человек про себя отметил, что Зверь овладел уменьшительно-ласкательным суффиксом, научился его применять. А раньше не умел. Это ему не давалось. Он не понимал, зачем это нужно и какая разница — сказать ли «Русалка» или «Русалочка». Теперь, видимо, понял.

Человек не решался спросить, где Ученик и что с ним случилось. Боялся узнать слишком много.

— Ты устроишься, — говорил Зверь, утешая Человека. — Устроишься на новом месте. Рассчитаешь мне трассу. Я уйду от них. Уйду и пробьюсь к тебе. Захватчу Русалочку. — Большой глаз моргал в тесном кольце стальной рамки. — И Ученика... Мы опять будем вместе. Ты напишешь свою книгу... — Голос, по-комариному тонкий, угасал, пропадал куда-то. — На-пи-и...

Милый Зверь! Милый, милый сказочник. Ты не знаешь, что сказки двадцатого века не имеют счастливого конца. Ты утешаешь. Тоненько так... по-комариному... вот уже совсем не слышно...

Двое шли по спешному полю навстречу ветру.

Лесник стоял на опушке и смотрел.

Один — чернявый, нахохленный — был укутан всем, что только нашлось: из одеяла торчал его крупный нос и грустно, замученно выглядывали влажные темные сливиньи-глаза.

Другой — у него был груз на спине — опирался на суковатую палку и старался держаться прямо, не хромать. Глаза его, воспаленные, припухшие, слезились. Длинные, до плеч, волосы и клубящаяся борода были совершенно седыми, белоснежными.

Но что самое удивительное — у них были две руки на двоих. У каждого был пустой рукав. Да, левый рукав у обоих был пуст.

Путники дошли до первых деревьев и остановились.

— Куда путь держите? — спросил лесник.

— К восходу, — странно ответил седой, полуслепшими глазами вглядываясь в лицо того, с кем говорил. И показал палкой куда-то назад. — Нет места там для нас...

Лесник достал папиросы, высыпал все, кроме двух, из мягкого мятого коробка и отдал путникам. Подумал — и отдал последние две тоже. Им нужнее. Еще наплась у него горбушка серого хлеба, залежавшаяся в кармане.

— Спасибо, — вежливо, с достоинством поблагодарил чернявый, принимая горбушку. — Вы очень любезны.

Голос был слабый.

Но поклонился он, как на посольском приеме.

— Где же руки оставили? — любопытствовал лесник. — В сражении, что ли?

— Да. — Седой уже нащупывал палкой дорогу.

Снежная крупа забивалась ему в бороду, пересыпала длинные, до плеч пряди белых волос.

— Сражение-то проиграли?

— Кто знает... — седой, похоже, полуулыбнулся.

Он закашлял и остановился, пережидая, прижав руку с палкой к груди. Потом пошел первым, прокладывая путь в снегу.

Оба что-то запели тихими голосами. Что-то протяжное.

— Откуда будете? — закричал им вслед лесник. — Кто такие? — Седой обернулся. — Ты кто будешь? Как звать тебя?

Назвать имя? Но что оно скажет... Пустой звук, его унесет ветер вместе со снежной крупой. Да и нет у него теперь имени. Сказать — Создатель Зверя? Но это звание у него украдено. Запачкано...

— Кто ты? — настойчиво допытывался лесник.

И получил странный ответ:

— Человек.

Оба одноруких пошли в лес, уже не оборачиваясь. Позади на снегу синели глубокие следы, над ними, дымясь, медленно оседала серебристая пыль.

До лесника вместе с порывом ветра слабо донесло слова песни:

Захвати-и с собой улыбку на дорогу...

Сода-солнце

«Как известно, при формулировании гипотезы автор сам допускает ее возможную ошибочность, чтобы в дальнейшем путем строгих опытов либо отвергнуть ее, либо подтвердить, может быть, видоизменив».

(Академик Н. Семенов)

«Богаче всего самое конкретное и самое субъективное».

«Индивидуальное содержит в себе как бы в зародыше бесконечное».

(В. И. Ленин)

1. А ДЛЯ ЧЕГО, СОБСТВЕННО!

Про него говорили: несерьезен, любит сенсации. А когда я с ним прощался, я смотрел на него и думал — все наоборот, он очень серьезен, он серьезно любит сенсации. Вот его позиция:

— Подумайте сами, что такое сенсация? Сensus — чувство, сенсация — это потрясение чувств. Ну и что плохого в том, что человек любит потрясения? Идет трезвая жизнь, люди заняты повседневностью. Потом однажды человек оглядывается и видит — идет трезвая жизнь, люди заняты повседневностью. Ну, а дальше что? Из-за чего хлопотать? Еда? Одежда? Интересные поездки? А куда поездки? Дальше старости не уедешь, и все, что положено увидеть тебе на твоём отрезке дороги, ты увидишь из окна вагона или из окна кос-

молета. Господи, но ведь космолеты будут только тогда, когда их построят. А это будет когда? А до этого ждать, ждать, а жизнь помаленьку вытекает из бурдюка с дырочкой.

Когда ему предложили уйти, он меня спросил:

— А уверены ли вы в том, что археология имеет значение только для истории материальной культуры? А зачем ее изучать, эту культуру?

— Вот потому вас и увольняют, — сказал я, — что если копнуть поглубже, то оказывается, вы не знаете, зачем занимаетесь археологией.

— Нет, дорогой учитель, — сказал он. — Не потому меня увольняют. А потому меня увольняют, что я хочу копнуть поглубже. И именно в этом вижу задачу археологии.

— Каламбурите.

— Нет, — сказал он. — Не каламбурю. Просто вы все притворяетесь. Поскольку археология требует денег, вы притворяетесь, что изучаете прошлую культуру, чтобы помочь нынешней. А как ей поможешь? Ну, еще найдете два-три украшения, еще один черенок, на который в музее со скукой будут смотреть отличники из девятого класса, а те, кто поумней, будут перемигиваться с девочками из соседней экскурсии.

— Правильно вас увольняют.

— Конечно, правильно. Стараются убрать свидетеля преступления.

— Какого преступления? Думайте, что говорите.

— Я и говорю, что думаю. А это не нравится. Лучше вы подумайте о том, что я сказал. Почему вы начали заниматься археологией? Потому, что хотели копнуть поглубже и найти нечто сенсационное. Не так ли? Но вы тогда были ребенком, кладонскателем, так сказать, романтиком. А потом взрослые дяди и тети, которым не повезло и которые за всю жизнь не откопали ни одной завалищенской гробницы Тутанхамона, объяснили вам, что археология — это тяжелый труд, а не погоня за сенсациями. А разве это так уж несомненно? А вдруг археология — это именно погоня за сенсациями, вдруг это ее существо? Главные находки — это такие, которые помогают человеку познать самого себя. Разве не так? А разве это не сенсация? А потом вы подросли, и обезьяньи инстинкт подражания заставил вас отказаться от самого себя. Археология — тяжелый труд! А зачем этот труд, если он не приводит

к сенсациям, то есть к находкам, потрясающим наши чувства тем, что у человека открываются глаза на самого себя?

— И еще разговариваете вы чересчур много, — сказал я.

— Ладно, подписывайте обходной, — сказал он. — Вы прогоняете единственного поэта из вашей лавки старьевщиков.

Его уволили. Он всегда был мастером нелепых сенсаций. Может быть, самая неленая из них та, что мы уволили его, а сами готовим экспедицию по его материалам.

Пусть это будет последняя сенсация, хватит с нас. Археология — это наука, которая нужна для того, чтобы... А для чего, собственно?

2. ВОТ ЕГО ЛОГИКА

Это был странный парень. На лице его вечно блуждала неопределенная улыбка. Никто толком не мог понять, что, собственно, ему нужно в археологии и вообще, что, собственно, ему нужно от жизни.

Однажды ночью он вышел к костру экспедиции и сказал:

— Салют алейкум.

И никто не догадался тогда, что это не дешевая острога, а формула его личности — причудливая смесь старых и новых приветствий, с которыми он обращался к окружающему миру.

В каждом человеке живут как бы два человека. Мы все это знаем. Но они в общем-то мирно уживаются друг с другом и к внешнему миру обычно повернуты одной стороной. По ней и судят о человеке. Другая притаилась и ждет удобного случая, чтобы проявиться в исключительных обстоятельствах. Тогда говорят — герой или, наоборот, — подлец. А о чем это говорит? Ровно ни о чем. Просто вторая сторона личности более приспособлена или, наоборот, не приспособлена к этим исключительным обстоятельствам. И если бы эти обстоятельства были не исключительными, а повседневными, мы бы знали этого человека с другой стороны, а не с той, с какой сталкиваемся в условиях, которые принято считать нормальными. А так ли уж нормальны эти условия?

Вот я хожу на работу, которая мне прислась, и я знаю, какой я на работе. А если дать мне работу по душе — как бы

я себя повел? Неизвестно. Это только считается так — дай человеку дело по душе, и все будет хорошо. На самом деле тут-то и начинается самое сложное. Один с радостью ей отдается весь, и ничего ему на свете не надо, кроме милого дела, другой увидит в ней только средство, которое поможет ему возвыситься над людьми, а третий вообще испугается свободы и душевного простора и не решится вылезть из скучной, но обжитой скорлупы и всю жизнь будет тайно ненавидеть осмелившихся, и будет радоваться неудачам смельчаков, и будет бескорыстно и бесстрашно ставить им подножки и палки в колеса.

Но может быть, самый сложный случай — это когда человек долго ждал момента встречи со счастливым делом и, наконец, вырвался на простор и простор ослепил его. Выпусти соловья из клетки — он взлетит и упадет мертвый, сделав глоток неба. А если бы сначала полетал по комнате, все бы обошлось. Может быть.

В общем из всех наших, пожалуй, я один догадывался, что с ним происходит. Я понял, что это как раз четвертый, последний случай. И потому в нем не уживались эти два человека и все время были в борьбе. Это выражалось во всем. Вот он рассказывает дикие, смешные байки. Хохот вокруг, у глаз его веселые морщинки, а длинная морда печальна. А однажды утречком, когда только слышен стук движка вдали, а за глиняным дувалом мерно вздыхают волны и весь мир улыбается, я смотрю, он идет мне навстречу и тоже улыбается. А подошел поближе — в сощуренных глазах плещутся слезы.

Он интересовался проблемой дьявола. Удивляетесь? Да нет, конечно, не того мистического, религиозного и так далее дьявола, а вполне реального. То есть он был убежден, что на самом деле там что-то такое было. Что-то такое, что послужило толчком ко всем басням, сказкам, описаниям, бесчисленным изображениям. Конечно, как человек современный, он понимал, что дьявол — это олицетворение сил зла. Всяких сил — и природных и общественных, — в которых не под силу разобратся и которые легче всего отнести к придуманному дьяволу. Ну, это все так, конечно, но почему тогда дьявола изображают страшилищем, а бога человекоподобным? Видимо, потому, что бог — это идеальный человек, то есть человек, приносящий окружающему миру только благо, а дьявол — это не-

что вредное и потому его надо изображать и представлять себе в виде чудовищно безобразного существа. Но если это так, если за понятием «бог» стоит представление об идеальном человеке, то есть существе реальном, то ведь следует допустить существование чего-то чудовищно реального, что наклостило и вредило и чему были приписаны все человеческие несчастья. Вот его логика.

3. ОН РАБОТАЛ НАУЧНЫМ СОТРУДНИКОМ

Недаром его погнали из экспедиции, когда он, проработав месяц бесплатно и только кормясь у общего костра, высказал эту бредовую идею. Его погнали, собственно, только потому, что идея эта, будучи раз высказана, приобрела странную притягательную силу. Наступила какая-то дьявольщина. Мои серьезные современные ребята, которым даже Хемингуэй начинает казаться устаревшим, вдруг стали интересоваться не столько раскопками курганов, сколько древней книжной чепухой, пытаюсь найти какие-нибудь признаки того, что послужило реальной первоосновой для создания нелепого и страшного образа. В разговорах за зеленым чаем и разогретой тушенкой замелькали имена Сведенборга, Якова Беме. Когда сначала в шутку, а потом с каким-то нервным смехом упоминались дивьи люди, саламандры, василиски и драконы, я еще терпел. Кто не любит сказок? Археологу фантазия нужна не меньше, чем математику. Фантазия — это гигиена мозга, кроме всего прочего. Пускай балуются, думал я, пускай отдыхают от логики. Но когда это стало переходить всякие границы, когда Валя Медведева, спокойная девушка, вдруг заявила, что следовало бы связать понятие «дьявол» с сохранившимися, может быть, экземплярами допотопных животных, когда Паша Биденко возразил ей, что дьяволу приписывается глубокое знание человеческой натуры и поэтому прототипом для дьявола могло бы служить существо только разумное, я понял, что пора кончать.

— Знаете что, дорогой мой, — сказал я ему. — Оставьте нас всех в покое и идите своей дорогой.

Он и ушел своей дорогой так же, как и пришел. Усмехнулся и ушел от костра, оставив после себя легкое ошаление и непонятную тоску.

Раскопки продолжались успешно. Были найдены следы высокой материальной культуры. Мы набрали на рыночную площадь, на древние торговые ряды, на оружие. Много ящиков с предметами материальной культуры, пронумерованных и обернутых в папиросную бумагу, вывезли наши вездеходы, и с наступлением холодов экспедиция свернула работу в поле и вернулась в Москву систематизировать и описывать найденное.

И в Институте археологии при Академии наук мы встретили его. Он работал научным сотрудником.

4. ЭТО ДЕМАГОГИЯ!

Как ему удалось обольстить начальство, никто не знал, но факт остается фактом — этот человек, не имевший ни научных званий, ни опубликованных работ, ни хотя бы серьезной подготовки, к моменту нашего возвращения работал научным сотрудником в институте. За какие такие заслуги его к нам назначили, было непонятно. А потому стало подозрительно. Поползли слухи. Мнения разделились. Слухи пошли самые невероятные. Одни считали его тайным сектантом, другие работником ОБХСС, приехавшим с ревизией. А Ноздрев, приятель Собакевича, даже пустил слух, что он Наполеон. И только я один знал нелепую правду.

Начальник отдела кадров, которого никто не видел смеющимся, хотя он всегда вежливо улыбался, однажды сказал мне, погибая от тихого хохота и утирая слезы:

— Клоун.

— Кто?

— Коверный клоун. Последнее место его работы — цирк.

— Да вы смеетесь, — сказал я.

— Как же не смеяться? Посмотрите, какое фото он принес в личное дело.

Обычное фото 4,5 на 6, а на нем размазанная маска. Я задохнулся.

— Да вы успокойтесь, Владимир Андреевич, — сказал начальник отдела кадров. — Он потом настоящее фото принес. Это я оставил себе на память.

— При чем тут фото?! Сейчас иду к директору. Из науки устраиваете какой-то цирк.

— Вот именно, что цирк, Владимир Андреевич. Только ничего у вас не выйдет. Личное распоряжение директора.

Что-то он еще говорил, да я не слушал.

Вот мой разговор с директором:

— Знаю, Владимир Андреевич. Знаю. Выпейте воды...

— Спасибо.

— Скажите, Владимир Андреевич, может, по-вашему, ну, например, депутат Совета быть клоуном?

— Не знаю. По-моему, нелепо.

— Браво. У нас с вами одинаковые взгляды. Это меня удручает.

— Вот как?

— Я точь-в-точь так же ответил на его вопрос. Текстуально. А он сказал: «Если клоун делает искусство — может, а халтурщиков надо гнать, даже если они археологи. Спрашивается, может ли клоун быть ученым?» У вас есть возражения, Владимир Андреевич?

— Есть. Это демагогия.

— Тогда прочитайте вот это. Присядьте. Здесь всего 16 страничек.

5. СЕКРЕТЫ

Это была статья, где обиденным ненаучным языком сообщалось примерно следующее:

Среди итальянских мастеров, принимавших участие в постройке Московского Кремля, самым заметным был Аристотель Фиоравенти. Поэтому сложилось мнение, что он и был главной фигурой. Между тем оказывается, что проектировал основные сооружения Кремля — башни, стены — один полузабытый человек. В Европе только две таких крепости — в Москве и Милане. В то время они были похожи, как близнецы. Потому что островерхие шатры на московских башнях были надстроены значительно позднее. Фамилия этого человека написана с внутренней стороны Спасской башни. «Пьетро Антонио Солари, миланец».

Все это в общем-то известно. Просто, может быть, никто подряд не перечислял объекты, выстроенные Пьетро Антонио, и потому как-то не осознавалось, что основным проектировщиком Кремля был Пьетро Антонио. Ну что ж. Можно принять

это сообщение и по-другому расставить акценты в справочниках. Но дальше начиналось занятное. Он доказывал, что Пьетро Антонио Солари происходил из миланских Солари, у которых все члены семьи были связаны с искусством, инженерией и так далее. Если учесть, что все мастера Милана так или иначе встречались на работах для двора Лодовико Моро, дяди немощного герцога Джан Галеаццо Сфорца, если учесть, что все Солари по каким-то причинам покинули Милан около 1490 года, то есть в год приезда Пьетро Антонио в Москву, если учесть, что Христофор Солари был учеником Леонардо да Винчи (сейчас это официально признано), если учесть, что Леонардо да Винчи как раз в это время строил Миланский кремль, то становится понятным, почему русские послы для такого важного дела пригласили никому не известного юношу Пьетро Антонио Солари, а не поручили строить Кремль европейской знаменитости Фиоравенти, прозванному Аристотелем. А забывчивость официальной истории по отношению к Пьетро Антонио объяснима: кому охота признаваться, что Кремль Москвы, третьего Рима, строил второстепенный инженер? Поэтому — да здравствует Аристотель Фиоравенти! А ведь получилось, что в лице Солари пригласили самого Леонардо да Винчи, одного из самых загадочных людей в истории. Например, известно ли вам, что первая карта Америки с первой надписью «Америка», где Америка впервые изображалась как особый материк, окруженный океаном, была найдена в бумагах Леонардо? «Ну и что?» — скажете вы. А то, что она была сделана до Магеллана, который первым увидел, что Америка — это отдельный материк, а не обратная сторона Индии, как думали и Колумб и Америго Веспуччи.

Я не заметил, как сам увлекся доводами этого клоуна. Нет, клоунством здесь не пахло. Да и что такое клоун? Почему человек решает посвятить себя тому делу, цель которого — постоянно вызывать смех над самими собой? Об этом стоило подумать.

Строитель Московского Кремля — ученик Леонардо да Винчи. Это хорошо, это отлично, это меняет многие представления о Европе и о связях России с Италией. Но почему именно ученик? Мало ли в Милане жило мастеров в то время, как Леонардо строил Кремль? Да и Леонардо не один его строил. Нужно хоть какое-нибудь прямое доказательство. Представьте себе — оно было.

Если вы пройдете у стены, которая тянется вдоль Москвы-реки, то на самом верху ее вы обнаружите странные отверстия. Странные они потому, что они не в зубцах, как обычно, а между зубцами, ниже их подножия. Зубцы — это не украшения: за ними стояли воины, а в отверстия они лили кипяток и смолу. А тут отверстия находятся между зубцами, в кирпичном барьерчике, за которым даже лежать нельзя — такой он низенький. Бессмысленных отверстий в крепостной стене быть не может.

Так вот, в рисунках Леонардо он обнаружил такую машину. Сквозь отверстия между зубцами просунуты шесты, снаружи они связаны между собой окованными бревнами, а с внутренней стороны они упираются в систему рычагов. Когда осаждающие лезли на стены по лестницам, защитники нажимали на рычаги, и наружные бревна, горизонтально лежавшие вдоль всей стены, опрокидывали лестницы. Вот для чего отверстия между зубцами. Для того, чтобы применить в Московском Кремле леонардовские секреты.

6. СОДА-СОЛНЦЕ

Вот так.

Что мы знаем о прошлом, если мы так ничтожно мало знаем о настоящем? А мы еще хотим предсказывать будущее. Копим факты, заворачиваем в папиросные бумажки, кладем на полочки и никак не уловим их внутренней связи. Наваждение какое-то. Где появляется этот человек, там теряется устойчивость, начинается клоунада или дьявольщина. Зачем вообще клоун? Зачем эта вечно отмирающая и вечно возрождающаяся профессия?

Его звали Сода-солнце.

Американские летчики, участники челночного полета, которые отбомбились над Берлином и теперь пили у стойки на нашей базе, встретили его невнятным веселым лаем. Он прикрыл их от «мессершмиттов», когда они подходили к базе. Он один спустил в море двух «мессеров», третий задымил к горизонту.

— Сода-виски, — предложили они ему.

— Сода-солнце, — сказал он и стал губами ловить капли грибного дождя, залетавшие в открытую фрамугу.

Американцам перевели — сода-солнце, — они опять засмеялись и напились на радостях. Его стали звать Сода-солнце. Все светлело на базе, когда он появлялся. Худощавый, с близко посаженными карими глазами, удачливый в начинаниях и ласковый с девушками. Девчата из БАО — батальона аэродромного обслуживания — стонали, когда слышали его свист. А насвистывал он всегда одну песенку:

Подкатились дни золотые
Воровской безоглядной любви.
Ой вы, кони мои вороные,
Черны вороны, кони мои.

А романов у него вовсе не было, и кто его «безоглядная любовь», никто не знал, и вина он не пил, только хватал губами капли дождя, когда возвращался с полета без единой пробоины. И уходил он от «мессеров» всегда в сторону солнца. Блеснет крылышками и растворится в слепящем диске.

Устелю свои сани коврами,
В гривы черные лепты вплету,
Пролечу, прозвеню бубенцами
И тебя подхвачу на лету.

Так он последний раз и ушел к солнечному диску. Блеснул крылышками и растворился в слепящем блеске. Никто его с тех пор не видел. Пропал.

Американцы-челноки прилетели опять и пошли к стойке, распахнув канадские куртки.

— Сода-солнце! — кричали они, отыскивая его глазами.

— Сода-виски, — сказала им новая буфетчица.

Они опять напились, но плохо, угрюмо напились. А штурман-мальчик все плакал и кричал: «Сода-солнце!» — и все оглядывался по сторонам.

Мы ушли от проклятой погони.
Перестань, моя крошка, рыдать.
Нас не выдали черные кони,
Вороных никому не догнать.

Когда он вышел к ночному костру нашей экспедиции, я его сразу узнал по свисту. Он свистел песенку о безоглядной любви и о вороных конях. Я его сразу узнал, хотя он располнел

и лицо его плясало от сменявшихся ежеминутно выражений. Клоунада. Теперь его приняли в институт археологии из-за работы о Леонардо, а он оказался клоуном. Дьявольщина. Он проходил испытательный срок.

Я ни разу не подавал виду, что знаю его. Зачем? Он же не узнал во мне скромного «технаря», который помогал заносить хвост его серебряной птички, а теперь стал доктором наук и его начальником. Старый я, и горько мне видеть клоунаду жизни. Когда я его вижу, я все вспоминаю, как его звали Сода-солнце и как он ловил капли яркими губами. Бедные маленькие капельки — их тысячи. Сейчас ночь, дождь идет. Навзничь падают капельки — и нет их. А ведь каждая капелька — это чье-то море. И кто-то яркий, с четкими глазами гребет к другому берегу. Потому что все моря внутренние. Только океан омывает материки. И я решил — ладно, пусть он ищет своего дьявола. К дьяволу все сомнения. Помогу ему во всем, в чем он только захочет. Во имя «Сода-солнце» — лучшего напитка на земле, во имя клоунады жизни, во имя безоглядной любви и вороных коней. Ничего не изменилось. Я технарь, а он Сода-солнце, только израненный, и я помогу ему расправить серебряные крылья.

А болтунам и их патриарху Ноздреву я заткну глотки. Я свирепею редко. Но лучше меня не трогать.

— Какая вам требуется помощь?

Он задумался.

— ...Ласка, — сказал он.

— Что?

— Я хорошо работаю, — сказал он, — когда меня любят.

— ...Сода-солнце... — сказал я, не удержался.

Он вскинул на меня ресницы узко поставленных глаз.

— ...Я вас сразу узнал, — сказал он тихо. — Потому и вышел к костру. Там. На Херсонщине...

Я вцепился рукой в подлокотник кресла.

— У меня была старая работа о Леонардо, — сказал он. — Когда я вас увидел у костра, я подумал: а почему бы мне не стать археологом?

— Дьявольщина... — сказал я. — Или цирк.

И проглотил комок.

Он тычком задавил сигарету.

— Не надо, — сказал он.

Он потрепал меня по руке и вышел.
В окно кабинета било солнце. Я выпил прохладной водички из графина.
Сода-солнце...

7. ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК БЫЛ МАЛЬЧИКОМ

И вот теперь я подписал ему обходной листок, и он увольнялся из института, я его теряю. На этот раз навсегда.

Я пошел к директору.

— Нет-нет, не просите, Владимир Андреевич, — сказал он, — хватит с меня этого наваждения.

— Но ведь экспедиция все равно состоится.

— Без него, — сказал директор.

— Разве он мало сделал?

— Сделал достаточно, — сказал директор. — Вполне. Вокруг нашего института стоит несусветный галдеж. Сенсация. Попы закопошились. Недоставало еще, чтобы мы добывали доводы в пользу религии.

— Как раз наоборот. Если будет доказано существование некоего реального существа, то это конец важнейшей половины любой из религий. Какой же это дьявол — с анатомией, с телесностью, с обменом веществ? А какая же религия без дьявола?

— Ну, хорошо, а зачем ему понадобился этот словутый певец Митуса, так называемый автор «Слова о полку Игореве»? Ведь он на нас обрушил всех профессоров-славистов. Они ведь слышать не могут о Митусе. И ради чего? Ради озорства. Разве он доказал авторство Митусы?

Авторство он действительно не доказал, но кое-какие доводы разбил. Они говорили, что слово «словутый» обычное слово — славный, прославленный. А он доказал, что все имена, которые кончаются на «слав»: Изяслав, Брячислав, Ярослав, Мстислав и прочие, — все специфически княжеские. Все не княжеские имена — все Добрыни и Путяты. И выходит, что «словутый» — это уже не просто прославленный, а скорее — царственный. А какая разница — славный или царственный? Дело в том, что Митусу вообще за поэта не считают. Утверждают, что даже слово «Митуса» — это не имя, а отглагольное существительное от

глагола «митусить» — то есть петь, приплясывать — и вовсе не имя, а прозвище шута. Так что слово «царственный» не очень-то годится для шута. Что же касается слова «Митуса», то он перерыл все источники и нигде не обнаружил второй раз этого слова, этого «отглагольного существительного», хотя глагол «митусить» встречается довольно часто. Ну, а кроме того, он обнаружил, что у вернувшихся из Канады лемков, карпатских славян, имя Митуса есть и сейчас. Это уменьшительное — Митуся, Митька, Дмитрий. И в довершение всего он нашел родословную дворян Митусовых, изданную в четырнадцатом году, а они ведут свой род от словутого певца Митусы.

— Сенсация, озорство, — сказал директор. — Несерьезно. Вносит в науку нездоровый ажиотаж. Разбрасывается. Как у каждого дилетанта, одни сенсационные идеи. А ведь хватка у него есть. Мог бы быть ученым.

— Он мог бы быть кем угодно. Он человек, — сказал я. — И, как человек, он обиделся за великого поэта, которого специалисты объявили шутком. И, как человек, он доказывает, что человек может стать кем угодно. Он человек, Сергей Александрович, а мы с вами специалисты.

Зря я это сказал. Для Сергея Александровича слово «специалист» — великое слово. Прутковских шуточек на этот счет он не принимает.

— И кроме того, ведь все это побочные результаты его основной работы, — сказал я. — Он ищет местоположение злого духа или как его там величать.

— Слушайте! О чем мы с вами говорим! Подумайте... Я как во сне, честное слово. Ведь сейчас двадцатый век! Я членские взносы плачу в профсоюз! По телевизору старомодный танец липси разучиваю! Ведь над нами смеются... Вы представляете себе сообщение: в Институте археологии при Академии наук ведутся работы по отысканию дьявола!.. Опомнитесь!

— Ну, как хотите, — сказал я. — Если так посмотреть, это действительно выглядит нелепо.

«Слава богу, еще не вспомнил эту историю с женщиной», — подумал я. И понял — не мог он об этом напомнить. Потому что целые сутки наш директор — ученый, специалист, пожилой человек — был мальчиком.

8. ЕДЕМ ИЗ-ЗА НЕГО

И вот мы едем в экспедицию без него. Я еду со спутанными чувствами. Все странно в этой странной поездке. И то, что я еду без него и на этот раз мы, видимо, расстаемся навсегда, и то, что мы едем проверять данные человека, которого мы уволили, и то, что мы едем в Тургай.

Я никогда не думал, что Тургай опять может появиться в моей жизни и опять будет играть такую большую роль. Как будто мне двадцать лет, и живы мои родители и близкие, и я новичок в науке, и как будто с той поры не прошло полвека.

Это было летом 1912 года. В Тургайской степи в то время работало несколько отрядов Отдела земельных улучшений. Эти отряды имели задачей выяснение гидрологических условий в целях обводнения будущих переселенческих участков. Один из этих отрядов, работавших под начальством горного инженера Мокеева, подобрал на реке Кара-Тургай несколько очень крупных зубов, большой позвонок и такую же копытную фалангу. И в то же лето участник другого отряда студент Горного института Горбунов несколько западнее Кара-Тургай, на реке Джиланчик, нашел богатые костями слои, в которых набрал довольно значительное количество остатков древних оленей и тигров. Все эти остатки были доставлены в геологический музей Академии наук, который в ближайшее же лето 1913 года командировал того же Горбунова для дальнейших розысков и раскопок в обоих местах. Студент Горного института Горбунов — это я. Моей тайной мечтой было найти кости мамонта. Эта поездка сыграла поворотную роль в моей жизни и принесла мне абсолютно неожиданный успех.

Тургайская область занимала часть киргизских степей, населенных кочевыми киргизами. Это была волнистая равнина с разбросанными по ней солеными и пресными озерами, заросшими камышом. Я снарядил караван, нанял киргизов, чтобы вести раскопки, и отправился в путь. И вот по дороге они сообщили мне, что в другом месте, на берегу Соленого озера, есть скопления костей гораздо более крупных, чем на Джиланчике. Они это место называли Битвой гигантов.

Не надо большого воображения, чтобы представить себе, что я почувствовал, когда услышал о битве великанов. Это была та смесь испепеляющего азарта и почти суеверного отчая-

ния при мысли, что рассказ может не подтвердиться, которая открывает человеку глаза на свои истинные желания, на самого себя, на свое призвание, которую мы зовем прозрением. Забыты были и Горный институт, и распоряжение начальства, и само начальство.

Я немедленно повернул экспедицию в сторону Соленого озера. А ведь я считался спокойным человеком, выше всего ставил невозмутимость и занимался гимнастикой по системе Миллера и лаун-теннисом. Это было, конечно, большим проступком, но я не мог устоять перед желанием подобрать кости мамонтов.

Я подобрал их. Я вернулся. Меня постигло жестокое разочарование.

Меня посылали для сбора неизвестной фауны, а я вместо нее привез давно и хорошо всем известного мамонта. Пришли ящики. И хотя мамонт не представлял особого интереса, все же раскрыли один из самых длинных ящиков, сняли крышку, и с первых же шагов обнаружились такие признаки кости, которые позволили с уверенностью сказать, что это не мамонт. Что же это? Это было какое-то совершенно новое, неизвестное гигантское животное. Разочарование сменилось острым интересом, который удесятирил внимание и осторожность препараторов.

Высшийся ныне в Историческом музее колоссальный скелет индрикатерия — 5 метров высоты — навсегда останется для меня памятником первого успеха.

И вот теперь мы едем в экспедицию без этого клоуна, не смотря на то, что едем из-за него.

9. БЕЗ ТАБЛЕТОК

Его выгнали прежде всего потому, что от него все устали. Началось с того, что я спросил:

— А почему вы, собственно, заинтересовались Митусой и Леонардо?

Это было неосторожно.

— Митусой я заинтересовался потому, что я не знаю иностранных языков, — сказал он.

— При чем тут иностранные языки?

— Начало нашего тысячелетия ознaменовано необычайны-

ми поэмами, — сказал он. — В Германии «Песнь о Нибелунгах», в Испании «Романсеро о Сиде Кампеадоре», в Англии — «Баллады о Робин Гуде», во Франции — «Песнь о Роланде», в России — «Слово о полку Игореве». Славянский мне было изучать легче, чем другие языки.

— Ну и что?

— Такое впечатление, что все силы творчества в начале тысячелетия ушли в поэзию. Причем безымянную.

— Допустим. Ну и что из этого?

— А то, что эпоха Возрождения, середина тысячелетия, должна была оказаться сильной в творчестве с рационалистическим оттенком. Так оно и было. Литература философствовала, драма стала публицистичной, изобразительные искусства смыкались с наукой.

— Ну, это известно. А что дальше?

— А то, что если взять человечество как общество, а не сумму людей, как организм, — то первые два этапа уж очень похожи на первые два этапа теории отражения, то есть на живое восприятие и на абстрактное мышление, и следующий конец тысячелетия должен ознаменоваться практикой в области творчества. А что это значит?

— Вот именно, что это значит? — сказал я. — Загибщик вы. Творчество и есть практика. Какая еще может быть «практика в области творчества»? И в начале тысячелетия творили, и в середине, и сейчас творят.

— А что сейчас творят? — спросил он. — Где уникальные произведения культуры, где великие творения, где синтез? Все анализ, исследования, открытия, теории, долбежка частиц, разброд, развал, поиски истины. Разбирают вселенную, как часики, потом собирают обратно — остаются лишние детали. Разве это творчество?

— Истину всегда искали — и нравственную и научную.

— Факт. Но для чего? Почему так много исследований и открытий и так мало изобретений?

— Это сейчас-то мало? Да их полно. Только и слышишь...

— Вот именно слышишь! А их должно быть столько, чтобы о них не было слышно. Вы же не слышите о том, что еще выпустили пару туфель или автомобиль. О них не сообщают, их делают. Нет, наше время не любит изобретений. Оно любит исследования. Кому трудней всего? Изобретателю. А исследователю? Все институты научно-исследовательские. Разве не

так? А почему? Исследование — это значит исследование того, что природа изобрела. А изобретение — это человеческое создание, продукт творчества, синтез.

— Без исследований не будет изобретений.

— Правильно. А без изобретений вообще ничего не будет. Жизни не будет. Человек от обезьяны отличается не исследованием дубины, а изобретением дубины. А сейчас изобретателя, по сути дела, боятся. Потому что он дезорганизует производство. А уже давно пора производить не просто предметы, а изобретения. Производство должно производить изобретения. Тогда никакой дезорганизации не будет. Будут планировать изобретения — и все.

— А где их напасешься? Изобретение — это не туфли, не автомобиль, — сказал я.

— Вот именно. А почему? Потому что никто не знает, что такое творчество, с чем его едят и как его вызывать, — сказал он и добавил как-то нехотя: — А вот Леонардо знал.

— А откуда вам это известно?

— По результатам. Один список его изобретений занимает десятки страниц. Не прочтешь. Устанешь, — сказал он устало.

— Леонардо — гений, — торжествующе сказал я.

— Гений! — почти крикнул он. — А не кажется ли вам, что у него способ мышления был другой, не такой, как у нас? Не кажется ли вам, что гений — это тот, кто нащупал другой способ мышления? А остальные так... Логикой орудуют.

— Ну, знаете!

— Что «ну знаете»? Что такое логика? Инструмент. А инструменты стареют. Вас же не пугает, что евклидова геометрия устарела?

— Ею пользуются.

— Правильно. Для частных задач. Для плоскости. А любящая плоскость — часть шара. А на нем сумма углов треугольника никогда не равняется двум «д». Молотком тоже пользуются, но есть орудия и поновее.

— А чем вы замените логику?

— Если наш мозг может иногда делать внезапные открытия, значит он может это делать постоянно. Если Менделеев увидел свою таблицу во сне, значит именно в тот момент ему легко было сделать это, значит его мозг правильно думал.

— Какая чушь! — Я рассвирепел окончательно. — Прежде

чем ему приснилась таблица, он годами мучился, обдумывая ее!

— Правильно. Мучился. Ну и что хорошего? Это значит, все эти годы он неверно думал, логически перебирал варианты, линейно думал. А потом линий накопилось столько, что они, наконец, слились в один комок, вот и все.

— Другого способа нет.

— А вдруг есть?

— У вас, что ли?

— Вот Шопен говорил: «Я сажусь за рояль и начинаю брать аккорды, пока не нащупываю голубую ноту». Что это означает? Это означает, что весь его организм откликнулся именно на это созвучие и именно в этот момент. Он идет за ним, и получается шедевр, изобретение.

— Н-да... И как же вы предлагаете их планировать, изобретения?

— Да надо планировать не изобретения, а людей, которые способны изобретать. Ведь даже сейчас мы же не планируем продукцию, мы планируем выпуск продукции. А продукция уж есть следствие, плод выпуска.

— А как планировать изобретателей, как узнать, кто может изобретать?

— Все, — сказал он.

— И вы?

— И я.

— Поэтому вы стали клоуном?

— Отчасти, — скромно сказал он. — Когда я рискнул позвонить профессору Глаголеву и сказал, что у меня есть интересные данные о том, что Митуса автор «Слова о полку Игореве», он бросил трубку. Я опять позвонил и спросил: «А если я нашел рукопись с его подписью, вы все равно не поверите?» Он засмеялся и сказал: «Клоунада». И опять бросил трубку. Я подумал: «А почему бы и нет? Почему бы мне не начать смеяться над чванством? Да здравствует клоунада!» Понимаете, настоящая клоунада это не тогда, когда публика смеется над клоуном, а когда клоун смеется над публикой.

И он искоса посмотрел на меня.

Я почувствовал, что краснею, и сказал:

— Вы что же, нашли такой способ мышления?.. Универсальный?

Это была вторая неосторожность.

— Нашел, — сказал он. — Универсальный.
Пора было его проучить.
— Отлично, — сказал я. — Вы нам его продемонстрируете.
— А зачем его демонстрировать? — сказал он. — Принесу завтра таблетки — и все.
— Какие таблетки?
— Вы их примете и сами начнете мыслить творчески.
Он не смеялся, мерзавец.
— Отлично, — сказал я. — Покушаем ваши таблетки.
Он кивнул и ушел. А я покамест выпил водички. Без таблеток.

10. МУКА И САХАР

Дальше начался цирк.
Он действительно принес на завтра какие-то самодельные таблетки. Шесть штук.
— Больше нет, — сказал он. — Самому нужно.
Гогочущие молокососы, которые были в курсе всего, окружили его и тянули свои лапы. Шесть человек расхватало добычу.
— Отравитесь, — кричали им остальные.
— Не отравитесь, — сказал он.
Приняли таблетки. Запили водой из графина.
— Ну, ребята, не подкачайте, — сказал он.
— Рабочий день уже начался, — сказал я противным голосом.

Процессия двинулась по коридору, неприлично хихикая. Впереди шли шестеро отравленных. Я был противен сам себе то ли оттого, что хотел взять таблетки, то ли оттого, что постеснялся это сделать.

Ночь я спал плохо. Сосал свои таблетки творчества. Валидол.

Наутро на работе ничего не произошло. Только он не обращал внимания на ухмылки, все ходил от одного к другому из этой шестерки и интересовался, как у них идут дела, и отрывал их от работы, а ведь каждый из них бился над своей проблемой. Но я не мешал ему. Злорадство давно прошло. Мне было просто жаль его. Я опять вспомнил, кем он был и кем он стал и как ему трудно найти свое место в жизни без своих серебряных крылышек. Бедный Сода-солнце.

Наутро пять проблем из шести были решены. С блеском. Проблему не решил только один, самый способный и результативный исследователь Паша Биденко. Институт притих. Пять человек ходили с вытаращенными глазами, с лихорадочными пятнами на щеках. Валя Медведева плакала в углу моего кабинета.

— От счастья, — сказала она мне. — И от горя. Я, кажется, его люблю...

Вокруг него образовался испуганный вакуум.

Кое-как дотянули до конца рабочего дня.

Ночью мне снилось, что я летаю, пикирую на захоронения минусинской культуры, выхватываю из могильников глиняные горшки с таблетками творчества и улетаю в сторону солнца.

На следующий день я собрался идти к директору докладывать.

В коридоре меня встретил Паша Биденко. Глаза у него слипались.

— Мука, — сказал он сонным голосом.

— Что?

— Мука и сахар, — сказал он. — И больше ничего в них нет. В этих таблетках. Ни фиги. Всю ночь делал анализы.

11. ЭТО БЫЛО ТОЛЬКО НАЧАЛО

Уже после всего, уже после того, как мы допросили его с пристрастием и приняли все меры, чтобы скандал не принял неприличных размеров и институт наш не стал посмешищем в научных кругах, уже после того, как мне удалось отстоять мое предложение: единственный выход из ситуации — не прогонять его, а отправить в экспедицию, — я спросил его тихонько перед отъездом, когда он влез в кузов грузовика со спальными мешками:

— Зачем вы это сделали?

Он перегнулся через борт.

— Чтобы ученая братия не задавалась.

— Ну, хорошо, а почему все-таки пять человек добились такой удачи в работе?

— По двум причинам, — сказал он. — О первой вы догадываетесь. У них растормозилось воображение, и они стали мыслить свободнее и потому самостоятельней.

— А вторая причина?

— А вторая причина та, что я сам незаметно подсказал им решение их проблем.

Грузовик завонял синим дымом и пошел с институтского двора. Вот и все.

Нет, это было не все. Оказалось, что это было только начало. Продолжение пришло из экспедиции.

Достаточно было ему уехать, как я сразу вспомнил опять, что его зовут Сода-солнце. Я всегда об этом вспоминал, когда его не видел. Мелочными показались мне и раздражение мое и наше бессмысленное удивление его прежней профессией. Да мало ли у него было профессий! Разве профессия определяет человека? Человека определяет то, что он дает этой профессии. У человечества тысячи нужд, и на каждую нужду — по профессии. Важно, что человек дает человечеству при помощи своей профессии, вот что важно. Пришел способный человек с идеями, а мы разинули рты — клоун. Может, нам клоуна-то и недоставало. Мы всегда боимся оказаться смешными, а это быстро раскусывают подлецы и навязывают нам — похвалами, лестью — свою этику. Мы костенеем в чванстве, тут-то нас и облапошивают. Клоун — это же хирург в области этики. Клоун — это поэт смеха. Острое словцо протыкает чванство, как игла водянку. Но это я сейчас такой умный.

Это я сейчас такой умный, а тогда перед его отъездом в экспедицию у меня было одно чувство — раздражение. Он удивительно умел раздражать людей, этот клоун. Клоун проклятый! Ведь я же ему друг, и он знает это. Зачем же ему высмеивать меня, дразнить? Ладно, не будем мелочны. Помогать так помогать. Короче говоря, я устроил его в экспедицию. О многом я передумал, когда он уехал в экспедицию, в которую я бы поехал и сам, да уже силы не те. Я послал его туда, откуда началось и мое движение. Хватит ему заниматься сопоставлениями на бумаге. Пусть начнет с самого начала. Пусть поедет в Тургай. Он и поехал. А получился из этого один конфуз.

Сначала от экспедиции не было ни слуху, ни духу, а ведь связь в наши дни не та, что в 1913 году. А потом пришло это нелепое письмо.

Я уж не говорю о том, что все оно было наполнено кучей самых разнородных идей, не имеющих никакого отношения

к его прямому делу, к археологии, и касающихся самых различных областей — верный признак дилетантизма. Это меня не удивило — знал, с кем связывался. Нелепым оно было потому, что в конце его была слезная мольба, похожая на издевательство. Он просил установить радиоактивным методом возраст того самого индикатерия, которого я привез в 1913 году. И прислать ему ответ.

12. — ЧТО-О!.. — СПРОСИЛ Я

Придется пояснить тем, кто не знаком с сущностью этого метода.

Археология имеет теперь надежный способ датировки — атомный календарь. Мы берем какую-нибудь кость из древнего захоронения и сжигаем в специальной печи. Выделяющийся при этом углекислый газ улавливается в пробирки, подвергается ряду химических реакций, и затем счетчик Гейгера определяет возраст кости. Радиоактивная углеродная датировка возможна потому, что все организмы поглощают углерод-14 — радиоактивный изотоп обычного углерода. После гибели животного или растения углерод-14 медленно разлагается. Сравнивая количество радиоактивного углерода, оставшегося в кости, с количеством обычного углерода в атмосфере, которое почти не меняется, ученые довольно точно определяют возраст того или иного объекта. Это все так. Но «атомный календарь» действует в мертвых организмах до 40 тысяч лет, а индикатерии вымерли миллионы лет тому назад. Поэтому весь отдел хохотал над этим письмом.

— Ненавижу, — сказала Валя Медведева.

— Паша, — сказал я Биденко, — он напрашивается на ликбез. Не могли бы вы проучить его и на этот раз?

— Запросто, — сказал Паша. — Если вы мне достанете кусочек кости от вашего индикатерия.

— Ладно, — сказал я. — Пошлем ему официальный ответ. На бланке института. С печатью.

Дело было несложное. Я созвонился с музеем и пришел посмотреть на свое дорогое чудище. Пятиметровый красавец стоял целенький, и внизу на табличке упоминалась моя фамилия. Я только вздохнул.

Пока я предавался воспоминаниям, сотрудники принесли

небольшой осколок кости. Я забыл сказать, что в свое время я привез один полный скелет и еще несколько разрозненных костей — все они были перемешаны в одном оползне и, следовательно, были одного возраста. Я поблагодарил сотрудников музея и отдал этот осколок Паше Биденко. А сам сел писать этому клоуну разгромное письмо, где я излил все накопившееся раздражение и где я объяснял ему, кто он есть, что о нем думаем все мы и как надо относиться к науке, если уж его прибило к этому берегу. Но потом я увидел как наяву его длинную ухмыляющуюся физиономию и понял, что большое письмо — это большие насмешки, а маленькое письмо — это маленькие насмешки, зачем мне это? Я порвал письмо и написал коротко на бланке института: «В костях индриктерии радиоуглерода почему-то не обнаружено». Я подчеркнул слово «почему-то», поставил печать в канцелярии и подписался: «Доктор исторических наук В. А. Горбунов».

Потом мне позвонил домой Паша Биденко и сказал, что согласно анализу возраст кости всего 5 тысяч лет.

— Что-о?.. — спросил я.

13. ВСЕ ОЧЕНЬ ГРУСТНО

Почему так приедается все в жизни? Наверно, потому, что все, с чем сталкиваешься, только похоже на то, чем оно должно быть, и ты знаешь, что это еще не первый сорт и где-то есть то же самое, но лучше. Меняются моды. Вчерашняя одежда кажется некрасивой, вчерашняя красота вызывает скуку, вчерашняя мысль — ее не замечаешь, вчерашняя радость вызывает ощущение неловкости (чего радовался, дурак), вчерашняя радость — это вчерашняя наивность, а сегодня я поумнел и на зубах оскомины. Ищем спасения в бесконечном поиске, но бесконечный поиск — это бесконечный голод. Конечно, приятно представить впереди необыкновенное блюдо с постоянной притягательностью, но не напоминает ли это клоч сена, привязанный перед посом осла? Бесконечная дорога, бесконечный голод и клоч сена, который удаляется с той же скоростью, с которой приближается к нему бедный бесконечно милый осел. Почему мы должны ожидать от будущего решения сегодняшних проблем? Ведь у будущего будут свои проблемы, только в нем не будет нас.

Но может быть, деятельность, стремления, движение — ошибка? Может быть, надо уставиться в собственный пупок и самодовлеть? А может быть, давайте бесконечно пожирать друг друга, чтобы чувствовать силу, чтобы радоваться власти не только над природой, но и над человеком? Но ведь, сожрав всех (а такие попытки делались), останешься один, завоешь в тоске и страхе и убежишь в смерть, в ампулу, которая припасена в бомбоубежище.

Давайте вспомним. Пускай наше тело вспомнит. Что никогда не надоедало, не приедалось от повторения, чего ждешь и на что безошибочно откликаешься? Переберешь в памяти все и вспомнишь ощущение руки, которая коснулась чужого тела, — вдруг вспомнишь, поймешь: это оно, это ощущение, имя ему — нежность. Все оттенки этого ощущения, этого понятия: от свирепой нежности воина, который, опустив меч, взял на руки ребенка врага, и девочка прижалась к его закаменевшей щеке, а он смотрит вдаль и говорит: «Не тронь!» — до тающей гибкой нежности возлюбленной.

Только нежность однозначна, только нежность не терпит иносказаний, маски, обмана, только нежность — она либо есть, либо нет ее. Мы только чересчур редко ее ощущаем, и она играет в нашей жизни незаметную роль. Но может быть, главную. Когда на земле хрипели ящеры, то вряд ли даже рептилия-философ придавала значение попадавшей иногда и ускользавшей в норы странной мелочи, обладавшей собственной теплотой крови, которая не зависела от перемены погоды. Ящеры ушли, а теплокровные заполнили мир.

И еще я хочу сказать о гематоме.

— Что-о? — спросил я.

Хотя спрашивать было, собственно, не о чем. Потому что я твердо знал ответ. Я только забыл его за эти годы, за последние полвека. Вернее, не забыл, а загнал куда-то в глубь сознания, как мы загоняем куда-то воспоминания о несостоявшемся, о несбывшемся, но оно живет в нас. И нас спасает от тоски только привычка обходить мысленно это темное пятно в нашем сознании, напоминающее гематому. Гематома — это нерассосавшийся сгусток крови, кровоизлияние, которое, если его не трогать, существует себе безвредным инородным телом, а если тормозить, может воспалить живые ткани, ну и так далее. Конечно, об этом «и так далее» даже думать не хочет-

ся, но дело в том, что даже безвредность гематомы относительна. Не может мертвое в живом быть абсолютно нейтральным. В живом все должно жить, принимать участие. Если что-то не живет, а присутствует, значит оно занимает место живого. Есть два способа избавления: один реальный — оперировать, другой, пока большей частью воображаемый, — оживить. Есть и третий — сдаться. Сами понимаете, хуже нет ничего, чем сдаться, — это плохой конец. И нет лучше ничего, чем оживить, — это хорошее начало.

Когда я спросил: «Что-о?» — то этот вопрос, возглас, вопль относился не к тому, что сказал Биденко, — а ведь он сообщил скучным голосом о том, что животное, которому полагалось исчезнуть миллионы лет назад, погибло где-то во времена фараонов! Оказывается, мое дорогое чудище жило одновременно с человеком, и тогда это уже вопрос археологии. Или это ошибка. Биденко ошибся, аппаратура ошиблась, дьявол его знает, кто ошибся, директор музея ошибся и дал не ту кость. Но самое-то главное для меня, старого хрыча (который ведь когда-то был молодым и не боялся сенсаций, а жаждал их, жаждал того потрясения чувств, при котором душа человека обретает крылья и открываются просторы — юность считает, что так и должно быть, и ждет этого каждый день, потому и мечется и тратится нерасчетно, заглядывая за все углы — не там ли притаился его величество случай; конечно, старость, умудренная синяками, идет верней и безошибочней, но мелочней и ради самосохранения, ради сбережения оставшихся сил утешает себя тем, что зелен виноград, и не ест его, но на душе все равно оскомины; но кто осторожничал всю жизнь и не тратился, тот облапошил свою юность и ничего не приобрел к старости, кроме опостылевшего комфорта и страха перед неожиданностями), самое главное для меня, старого хрыча, было в том, что если в юности встреча со счастливым случаем — это оправдавшееся предчувствие, то в старости это подобно потрясению от встречи с ожившим мертвецом, подобно оживлению гематомы.

Короче, все эти рассуждения о нежности и воскрешении мертвого нужны были мне для того, чтобы понять самому, почему, когда я спросил «что-о?», я вспомнил, как он месяц назад, выходя из кабинета, когда я впервые назвал его Содасолнце, сказал «не надо» и потрепал меня по руке.

И еще я вспомнил, как 50 лет назад я догадался, что най-

денному мной дороговому чудищу всего несколько тысяч лет, а не миллионы, как тогда решили ученые.

Я шел по улице, и мне казалось — я мальчик, и живы близкие, которых нет давно, и все еще впереди, и я бессмертен. Дул ветер и рвал полы моего пальто, но я не замечал ветра. Шел дождь, но я не замечал дождя, и глаза у меня были сухие.

— Ну, погодите, мы еще покажем вам, старые хрычи, — бормотал я, старик, а сердце стучало. — Ну... началось.

Я еще не знал, что началось, но был готов ко всему. Цирк или дьявольщина — мне было все равно. Главное, что началось! Только окончилось все очень грустно.

14. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЧЕРЕП

Я никогда не забуду тех дней, счастливых и тайно стремительных.

Сначала никто не поверил анализу Паши Биденко, и прежде всего он сам.

— Чушь, — сказал директор.

Проверили. Данные подтвердились. Сенсация? Нет, конечно. В музее могли перепутать кость. Провели совещание совместно с музеем. Вынесли решение взять кусочек подлинной кости моего чудища в том месте, которое уже было слегка реставрировано. Осторожно выпилили участок кости, на этом месте сделали вкладыш из специального цемента. Снова провели анализ... 5 тысяч лет — вот возраст индикатерия, найденного мной в 1913 году.

Сенсация? На этот раз — да.

Но дело в том, что еще в двадцать третьем году я высказал предположение о недавнем — относительно, конечно, — происхождении найденных мною костей. Дело в том, что каким бы неопытным я ни был в те годы, но даже и мне показалось, что те животные, кости которых я раскопал, погибли какой-то странной смертью. Это не было похоже на естественную смерть. Кости самых разных животных были перемешаны и разбросаны, и все они находились в одном слое, и, следовательно, это не было результатом позднейших изменений в земной коре — вот в чем загвоздка. Невольно приходило на память пушкинское: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми

костями?» Это было похоже либо на битву разных животных, либо на кладбище, а вернее на свалку. И все это месиво располагалось чрезвычайно близко к поверхности, в пластах, насчитывающих никак не более, чем несколько тысяч лет, уж это-то я, студент Горной академии, мог понять. Я тогда высказал догадку о существовании этих животных, в том числе и индрикатерия, в недавнем прошлом. Меня высмеяли. Теперь догадка подтвердилась. Через полвека. Вот и все. По крайней мере анализы говорят — да. Решено отправить большую комплексную экспедицию и произвести раскопки, так сказать, на высшем уровне. Я сам еду в эту экспедицию. Мой индрикатерий — мне и кости в руки. Только мне уже ехать не хочется. Чересчур многое налицо на эту простую и честную затею. И виною опять он, клоун, Сода-солнце.

Его срочно вызвали в Москву. Несколько дней после приезда он где-то болтался, потом пришел в институт. Не то триумфатором, не то подследственным — не поймешь. От него потребовали отчета, он написал толковый отчет, где объяснял, почему он попросил провести анализы, — потому что среди костей, которые он обнаружил неподалеку от моих старых раскопок, он нашел человеческий череп.

15. ПОСЛЕ ЭТОГО ЕГО УВОЛИЛИ

Он привез этот череп.

Череп был новенький и гладкий. И не какой-нибудь там череп питекантропа, хотя это тоже мало что меняло, а вполне современный череп, такой же, как, скажем, у меня, а может быть, еще современной, так как у него даже все зубы были целые, чего уже давно нельзя сказать обо мне. Череп настолько новенький, что пришлось немедленно провести такой же анализ, так как первая мысль у всех была — фальшивка. Провели анализ — 5 тысяч лет. Вот так.

Все хорошо, не правда ли? Все очень плохо. В конце отчета было написано: «А еще при раскопках среди костей вымерших животных была обнаружена скульптура женщины необычайной красоты».

— Какой женщины? — спросили мы ошеломленно. — Где она?

— У меня дома, — сказал он. — Завтра принесу.

— Подождем до завтра, — сказал директор.

Я не стал ждать до завтра. У меня привычно похолодело где-то под ложечкой. Какая к черту женщина, о господи! Весь вечер я провисел на телефоне, пытаюсь связаться с экспедицией. Ночью дали разговор.

— Это я, — говорю я. — Да. Здравствуйте. Как дела?

Дальний девчачий писк:

— ...Хорошо... Успешно...

Посторонний голос:

— Вы разговариваете?

— Да, разговариваю.

— Разговаривайте, разговаривайте, — дружелюбно сказал голос.

— Да разговариваю же, разговариваю! — кричу я.

— Что-нибудь случилось? — спрашивают оттуда. — Как отчет?

— Отчет неплохой, — отвечаю. — Скажите, вы что-нибудь знаете насчет этой женщины? Где он ее нашел?

— Она красавица, — пищат. — Вы ее видели? Ну, как она вам?..

— Еще не знаю. Завтра увидим.

— Вы разговариваете? — спрашивает голос.

— Это вы разговариваете! — ору я. — А нам не даете!

— Ваше время истекло, — говорит голос.

— Алле! Алле!..

Вот и вся информация.

Назавтра все собрались у меня в отделе. Народу набилось столько, что столы составили к стенке один на другой, и на самом верху у потолка между торчащих вверх ножек в позе нимфы у ручья возлежал Паша Биденко. Он ничему не верил, пускал клубы дыма и смотрел на всех свысока буквально и переносно. В центре, стиснутый высоконаучной толпой, стоял шахматный столик, принесенный из комнаты отдыха. На нем возвышался фанерный ящик, какие употребляются для посылок. Из полуоткрытой крышки торчала вата. Стояла тишина. Только слышался противный скрежет гвоздей, которые клещами вытягивал Сода-солнце.

Он снял крышку и погрузил две руки в пыльную вату.

— Подержите ящик, — сказал он.

Протянулись руки. Вцепились в ящик.

Он вытащил бурый комок ваты и поставил его на мгно-

венно опустевший столик. Ящик уже плыл над головами в сторону двери и с грохотом вылетел в пустой коридор. Слой за слоем вата ложилась на стол и становилась все белей и белей, и вот уже она стала похожа на морскую пену, и вот уже все дышать перестали. И наверное, если бы не гул в ушах, можно было бы услышать мерный глухой стук одного большого сердца, когда остался последний, полупрозрачный, словно туман, слой ваты, даже не ваты, а тень ваты, и стали видны черты прекрасного лица с полузакрытыми глазами.

Остановилось сердце. Руки сняли последнюю вуаль. Резко очерченная верхняя губа. Пухлая нижняя. Смуглый цвет старого золотистого дерева. Рот чуть-чуть улыбался. Немного похожа на Нефертити, но в другом роде. Скорее Аэлита. Остро взглянули глаза из-под наполовину опущенных век.

Раздался грохот. Все вздрогнули, как от удара током. Ничего страшного. Это Паша Биденко свалился с потолка.

У всех были потрясенные лица. Директор тяжело сглотнул. В плотной массе людей произошло какое-то движение. Это яростно проталкивался Паша Биденко.

— ...Анализ, — прохрипел он. — Не верю...

— Запрещаю, — сказал директор и облизнул пересохшие губы.

— Нет, — сказал Сода-солнце.

Он взял клещи, быстрым движением отломил щепку у самого основания прекрасной шеи и подал ее Биденко.

— Вы серый человек... вандал, — сказал директор бедному клоуну. — Идите вон.

— Спасибо, ребята, — сказал Сода-солнце. — На самом деле спасибо.

Он глубоко вздохнул, улыбнулся и стал протискиваться к выходу.

Директор оттеснил всех от стола. Дрожащими руками он собирал вату и укутывал прекрасное лицо. Он растопырил локти, что-то квохтал и был похож на большую курицу. Всем было понятно, что так у него выражается окрыленность. Никто никогда не видал таким нашего директора.

— Владимир Андреевич, — кудахтающим голосом сказал директор, — вызовите охрану... И чтобы ключ от сейфа... Сейф печатаем.

Если бы ему сейчас дать волю, он бы вызвал танки. Я медлил. Он посмотрел на меня с яростью.

— И вы? — сказал директор. — Неужели и вы? Биденко простительно... Хотя не нужно быть специалистом, чтобы понять, что это такое.

— Да... Не надо быть специалистом, — сказал я.

И пошел выполнять распоряжение директора.

Утром следующего дня Биденко, виновато улыбаясь, подтвердил:

— Да... Те же самые 5 тысяч лет.

Потом я позвонил этому клоуну.

— Зачем вы это сделали? — спросил я печально.

— Я пошутил, — сказал он.

— Что мы скажем директору?

— Правду, — сказал он.

А правда была такова: фотографию этой женщины я видел у него еще во время войны.

Меня только поразило, как быстро была выполнена скульптура. Ведь дерево-то было настоящее, древнее, значит, он нашел его в раскопках, значит, скульптура была сделана всего за те несколько дней после его возвращения, что он не являлся в институт. Но я знал, что его приятель Константин Якушев человек способный.

Он надул всех и прежде всего себя. Можно смеяться над чванством, но нельзя смеяться над такими чувствами. Посмотрели бы вы на директора, когда я рассказал ему все, как есть. Он все время молчал, пока я рассказывал, а потом снял пенсне. И глаза у него были совсем детские.

После этого Сода-солнце уволили.

16. «ПРИВЕТ СТАРЬЕВЩИКАМ!»

А потом мы поехали в экспедицию без него, пробыли там все лето, нашли много интересного, быстренько свернули работы, и так получилось, что я отослал всех обратно и на месте большого лагеря остались в пустыне только я и Паша Биденко.

После окончания работ и отъезда экспедиции, торопливого и печального, передо мной теперь уже неотвратимо встал вопрос: почему же я все-таки остался?

Все опустело, только следы палаток, холодные звезды да ветер, пронизывающий все, пронзающий душу ветер. Да еще

одинокая фигура Паши Биденко, которая маячит возле нашего многострадального вездехода, да еще тоненький ииск приемника — мелодия джаза дико звучит на кладбище динозавров.

И я подумал: тоненькая, еще очень тоненькая пленка отделяет нас от мира чудовищ.

Сели батарейки, замолк приемник, и опять — только пустыня и коричневая пыль. А тут еще сами себе могилу роем. Хлопочем, стараемся понять человека, а он, этот человек, придумал бомбу, и она есть, что бы мы там ни говорили, и никуда не уйдешь от этого, будь она проклята. И если человечество не поймет само себя, ему один путь — в ископаемые. И через тысячи лет придут новые существа, и будут вскрывать костеносные пласты, и по нашим коричневым скелетам будут догадываться, почему погибли эти существа, внешне так не похожие на динозавров.

Ну что ж. Если задача археологии — помочь человеку понять самого себя, то по крайней мере с одним человеком это случилось. Вернее, с двумя. Второй — это Биденко. А первый, конечно, я. Боюсь преувеличений, а то бы я сказал, что мало кто из нас остался прежним после этой экспедиции. Однако, зная, как много у меня самого было причин пересмотреть кое-какие свои взгляды, я не могу свести к одной-единственной причине те изменения, которые произошли с участниками этой нелепо правдивой и потому фантастической истории. Ибо что такое фантастика, как не правда, доведенная до абсурда.

Экспедицию можно было считать удавшейся. Найдено было много, и найдено было стоящее. И ни по каким законам, ни по каким нормативам нельзя было считать ее неудачной. Почему же тогда то иссушающее разочарование, которое ощущалось всеми участниками — от подсобных рабочих, впервые видевших чудовищные кости, до сдержанных квалифицированных исследователей, у которых презрение к дешевке и шумихе было признаком не только хорошего тона, но и глубоко осознанным принципом. Может быть, виною тому было то, что народ все подобрался талантливый, а талант в науке чрезвычайно трудно отделить от азарта. Может быть, всему виною был ветер.

Ветер был изнуряющий. Почти сразу, как мы приехали, начались песчаные бури. Следуя наметкам предыдущей партии, мы нашли новые костеносные пласты, три так называемые «линзы» с костями динозавров хорошей сохранности, ржавые

от пропитывавших их окислов железа. И хотя улов был богатый, правда, не совсем тот, о котором втайне мечтал каждый участник экспедиции, я даже подумывал о прекращении работ. Все из-за ветра. Но потом мы натолкнулись на эти древние заброшенные рудники, и экспедиция фактически ушла под землю. Только снаружи по ночам было худо. Палатки продувались холодом. До ближайшего источника были долгие томительные часы. Густая коричневая пыль, проникая в мельчайшие поры, забивала нос, сушила горло. Постоянные ветры, дувшие с чрезвычайной силой, несли не только песок, но и довольно крупные камни, разбивавшие стекла предохранительных очков. Ветер не прекращался ни днем, ни ночью. Одежда, постели и пища были обильно уснащены довольно крупным песком. И если бы не подземелья с их спасительной тишиной, работать было бы невозможно. Но надо рассказать не о том, чем эта экспедиция походила на обычную, а чем она от нее отличалась. А отличалась она темной неопределенной тоской и духом клоунады, который незримо витал над экспедицией.

Такая печальная тишина и темнота царили в этих старых выработках, что хочешь не хочешь, а возникало настроение строгое и сосредоточенное. Этому настроению поддавались все: и молодые и старые. Вот строки из дневника Биденко: «Становится безразлично, день или ночь на поверхности. То проходишь по высоким очистным забоям, где гулко отдаются шаги и теряется свет фонаря, то ползешь, еле протискиваясь в узких сбойках, то карабкаешься по колодцам, восстающим на другой горизонт. Здесь переходишь на другой счет времени потому, что некоторые из этих рудников относятся еще к доисторическому времени, хотя есть и более новые. Они вырыты вдоль полосы пермских отложений, заключающих осадочные медные руды, так называемых меднистых песчаников. В одном из штреков, шедшем наклонно в землю под углом 35—40 градусов, я поскользнулся и, скатившись вниз, провалился в отвесный колодец, глубоко уходивший в бездонную черную темноту. По счастью, колодец был довольно узок, и я заклинился в нем до самых плеч, как пробка в бутылке. Потребовалось немало труда, чтобы высвободиться. И первое, что я увидел, когда выбрался на край колодца и посветил себе фонарем, была надпись на стене кровавыми буквами: «ПРИВЕТ СТАРЬЕВЩИКАМ!»

Так мы получили первую весточку от нашего дорогого, незабвенного.

Кстати, о Вале Медведевой. С ней вообще было сложно. По крайней мере ей так казалось. Когда после истории с «таблетками творчества» мы отправили его в экспедицию, поехала и она. Помню, она пришла ко мне домой, и я ее даже не сразу узнал — я ее впервые видел по-современному накрашенной.

— Владимир Андреевич, — сказала она голосом Комиссаржевской. — Я или поеду в экспедицию, или... или...

— Или одно из двух, — сказал я, чтобы поддержать одесский колорит. — Валя... губная помада — откуда это у вас?

— Из магазина «Ванда». Владимир Андреевич, вы меня не понимаете, — сказала она голосом Элеоноры Дузе и села в кресло, как на картине Серова.

— Валюша, — сказал я. — Вы простая девочка. Зачем эта древняя патетика?

— Я сама не своя, — сказала она голосом Сары Бернар.

Я понял, что дело безнадежно, и отпустил ее в экспедицию.

И вот теперь, когда Биденко нашел кровавую надпись, Валя поняла, куда девалась ее польская помада.

Все было нескладно в этой нескладной экспедиции. И то, что нас послали проверить отчет клоуна, и то, что его уволили. Словно коричневая пыль, плавали неопределенные слухи вокруг нашей экспедиции, которой давно уже пора было возвращаться в Москву, а она с нелепым упорством продолжала искать неизвестно что. Об этой второй части наших затянувшихся поисков никогда не было написано ни одного отчета, а все затраты были списаны начальством, кажется, на культурные нужды. И что самое неприятное, кое-что просочилось в печать. Какой-то деятель напечатал в научно-популярном журнале заметку в разделе «Знаете ли вы?», в которой деловито сообщалось и о скульптуре, и о черене, и о том, что могло послужить прототипом для понятия «дьявол». Последнее словечко не осталось незамеченным. Где-то появился фельетон, в котором слово «дьявол» обыгрывалось и так и этак и о нашей экспедиции говорилось с веселой пошлостью, а также, в частности, мимоходом лягалась вся археология и задавался вопрос: «А не пора ли финансовым органам поинтересоваться, куда идут народные денежки?»

Можно было бы фельетонисту ответить просто: деньги в науке уходят на поиски истины. Но он бы этого не понял.

В результате этой недостойной суеты мы получили приказ возвращаться. Дело приобретало неприятный оборот, а тут еще история с письмом...

Когда мы прощались с этим проклятым клоуном, он дал мне запечатанный пакет с условием открыть его, когда мы найдем пресловутого дьявола, а он, видите ли, был уверен, что мы его найдем, и, более того, утверждал, будто знает, что именно мы найдем. Всем в экспедиции было известно про это письмо; никакого дьявола мы, конечно, не искали, а мы искали способ опровергнуть саму мысль о том, что можно заранее знать неизвестное. Все прекрасно помнили оскорбительную историю с «таблетками творчества», и теперь мы с упорством маньяков старались добыть доказательства того, что он не прав, что нет никакого особого способа мыслить, что он не мог, просто не имел права угадать, что именно мы найдем в этих подземельях. Потому что нам казалось тогда, что это единственная возможность нашего самоутверждения.

И вот это письмо было кем-то вскрыто, и тем нарушены правила игры, и дана ему лишняя возможность посмеяться над нашей уверенностью в своей правоте. Было такое чувство, словно мы получили пощечину. Вторую пощечину мы получили, когда прочли то, что там было написано.

«По моим предположениям, письмо будет вскрыто несколько раньше, чем вы найдете то, что должны найти, — писал он. — По моим предположениям, письмо должна вскрыть одна моя знакомая. Не обижайте ее — иногда невозможно удержаться, если ты еще совсем молодая особа. Говорят, то же самое случилось с Евой. Внутрь этого пакета я вкладываю второй — с отгадкой».

Там действительно был второй пакет. Валя Медведева уехала в тот же вечер. В тот же вечер я распорядился сворачивать экспедицию.

Он неплохо знал людей, вернее, людские слабости, но это еще не доказательство особого способа мыслить...

Погрузка была проделана быстро и хмуро. Лагерная площадка опустела. Остались только я и Биденко, да вездеход, да еще приемник, да еще ночная пустыня с колючими звездами, которые, не мигая, смотрели на кладбище динозавров. И тогда я задал себе вопрос: почему я остался?

У меня такое ощущение, что я кому-то подрядился рассказать историю и даже увлекся, а потом вдруг потерял интерес и весь порох вышел. Надо заканчивать, а не хочется. Наверное, потому, что опять весна, а весна — это время, когда хочется уклониться от обязанностей. Весна — время, когда желания раздваиваются. Хочешь думать о будущем, а взгляд обращается в прошлое. Мы всегда переносим несбывшееся туда, где нас нет. Поэтому прошлое кажется лучше настоящего, а будущее — желанней. И мы то забегаем вперед, то пятимся назад, стараясь углядеть веселое лицо счастья. Воспоминания, воспоминания, щемящая, опасная сладость. Как будто сам себя спиываешь в тираж.

Я все помню. Я помню наш последний разговор с Содасолнцем, и я помню истинную причину, из-за которой его изгнали. Она проста, эта причина. Я его предал. Никто этого не знает, даже он. Я единственный знаю. Потому что я единственный мог защитить его в самый тяжелый для него момент и не сделал этого. Никто не может меня обвинить. С любой точки зрения я поступил правильно. С любой точки зрения, кроме моей. Потому что он преподавал нам хороший урок, этот клоун, которого меньше всего интересовала наука. Как, впрочем, и всякая другая деятельность, если она сама, эта деятельность, не могла дать ответа: а зачем она нужна для человечества? В том нашем последнем разговоре, в котором были поставлены все точки над «и», а потому стало ясно, что наши пути расходятся навсегда, я мог бы все исправить, если бы не жалкая попытка сохранить свое жалкое достоинство, как будто бы достоинство ученого не в том, чтобы доброжелательно рассмотреть новую идею, если она опрокидывает твою собственную.

Уже после истории со злосчастной скульптурой и черепом, когда опять все спуталось и никто не знал, как с ним быть, я солнечным утром проходил по коридору и услышал его голос, гулко звучавший за полуоткрытой дверью. Я вошел. Он меня не заметил — стоял спиной. Солнце било в открытые окна. Седые от зноя верхушки лип застыли, как на молитве.

Он был очень возбужден, и речь его походила на бормотанье. Однако, когда я вслушался, меня поразило, что он гово-

рил четко, будто читал по написанному. Речь, как я понял, шла о логике. Он иногда сам задавал себе вопросы и сам же на них отвечал. Потом я увидел мечущийся по потолку солнечный зайчик, присмотрелся и понял, что он говорит в микрофон. Мягко вращались магнитофонные диски.

— А как вы снимаете противоречие между логикой и внезапными открытиями? — спросил он сам себя.

И тут же стал отвечать:

— Логика — это мышление в пределах открытого. Это мышление задним числом. Это установление связей между известными фактами. Поэтому при столкновении с качественно неизвестным ей делать нечего. Вот самый безупречный логически пример. И самый неверный. Когда Коперник сказал, что Земля вращается вокруг Солнца, ему ответили: «Чушь. Если бы она мчалась в пространстве, то ветром бы облака относило в противоположную сторону». Логика безупречна. Чтобы ее опровергнуть, потребовалось открыть закон притяжения и доказать, что облака мчатся с Землей, как единая система, то есть предмет. Поэтому логические умозаключения годятся только для событий одного порядка. Для событий качественно новых логика не годится. Фактически вся логика сводится к утверждению, что «если это было, следовательно, это будет». Так давайте же применим этот главный закон к внезапным открытиям, и попытаемся найти их собственную логику, и не будем стараться навязать известное неизвестному, чтобы отрицать неисследованное. Факты говорят — внезапные открытия бывают. Заметьте — бывают, а не один раз были. Следовательно, они должны быть и впредь. Факты говорят — кпд их огромен. Логика говорит — следовательно, он и будет огромен. Так давайте же исследовать, чтобы найти способ использовать, а потом установим новую логику внезапностей, чтобы предсказывать невероятное.

Зайчики метались по потолку. Сода-солнце заклинал человека поверить в свое величие.

Солнечный день за окном. Гипноз радости. В носу щекало, будто выпил шипучего. Этот напиток назывался «Сода-солнце».

Я вдруг подумал, что все это похоже на прощальную речь. Или, вернее, на интервью. Он интервьюировал сам себя, и тот, кто задавал вопросы, был не глупее того, кто отвечал. Только вопросы можно было предугадать, а ответы нет.

— Как вы себе представляете такого рода мышление? — спросил он сам себя. — Это что же — знание априори или наитие свыше?

— Механизм я себе представляю так, — ответил он. — Мышление внезапностями, эвристическое — от слова «эврика», что это такое? Это следствие тоски. Тоска — это несформулированная цель. Но ведь несформулированная цель — это просто очень сложная потребность, к которой сразу и слов не подберешь. Но она есть. А ежели она есть, следовательно, она возникает по каким-то законам, которые ее вызвали. Но ведь наш мозг — это не только орган, который осознает законы, он еще и соответствует этим законам, построен по этим законам, вызван к жизни этими законами, создан этими законами. Когда наша потребность превышает какой-то порог, эти законы, вызвавшие глубинную потребность, сами отпечатываются в мозгу, как на фотопластинке, и тогда мы говорим — внезапное открытие. Я счастлив, что у Эйнштейна я нашел такое признание: «Открытие не является делом логического мышления, даже если конечный продукт связан с логической формой».

Я был доволен, не смейтесь, даже почти счастлив. Я видел его серьезным, и об идеях его стоило подумать. Явно.

Я шевельнулся. Скрипнула паркетина. Он быстро обернулся.

— А... — сказал он спокойно. — Сейчас кончу.

— Добрый день, — сказал я и кашлянул.

— Если отбросить всякую клоунаду, чем вы интересуетесь на самом деле? — спросил он в микрофон. — Без дураков, понимаете?

— Я занимаюсь соотношением творческого акта и обычного мышления, — ответил он.

Он посмотрел в белесое от солнца небо и сказал:

— У Шекспира есть выражение: понять — значит простить. Но не кажется ли вам, что понять — значит упростить?

Он помолчал:

— ...И не только в том смысле упростить, что к абсолютной истине можно только стремиться, а еще и в том смысле, что тот, кто упрощает проблему, должен быть сложнее самой проблемы. Иначе он упростить-то упростит, но ничего не поймет, кроме своей фальшивой схемы. А потому, чтобы человеку понять самого себя, ему надо как-то стать сложнее собственного мозга, вот ведь какая штука. А как это сделать, вы мне

не подскажите? Мы вот наблюдаем поведение друг друга и свое и стараемся понять. Но ведь в наблюдении участвует наш мозг, а он упрощает все, что понимает. Ведь понять — значит упростить, так мы договорились.

Мне показалось, что он ждет ответа от магнитофона. Даже жутковато стало.

— Но вот приходит акт творчества... — сказал он медленно. — ...И его не уследить... И результаты его всегда неожиданны... Не означает ли это, что в этот момент наш мозг на мгновение становится сложнее обычного?

У меня шевельнулась догадка, от которой я сразу задохся. Но потом понял — чепуха.

— Не означает ли это, что в момент творчества наш мозг и физиологически и энергетически сложнее нашего обычного мозга?.. — сказал он. — Как вы считаете?

И выключил магнитофон.

19. — ВЕРИТЕ! — СПРОСИЛ ОН

— Все. Пока, — сказал он и вытер лоб. — Потом надо будет еще сказать об Уоллесе, чтобы перейти к главному. А то все забывается.

— При чем тут Уоллес? — спросил я.

При чем тут Уоллес? Старая, тяжелая для науки история. Соратник Дарвина, который самостоятельно пришел к теории эволюции, а потом самостоятельно от нее отказался потому, что не смог ответить, откуда, с точки зрения эволюции, у человека человеческий мозг. В науке не любят вспоминать эту историю.

Он сказал:

— Если более сложный организм происходит от менее сложного, если приспособление к среде происходит за счет случайных изменений в организме, если случайные изменения могут дать только минимальное преимущество новому виду, если случайные изменения должны соответствовать новым условиям, чтобы вид сохранился, то для образования человеческого мозга не было у человека ни времени, ни условий, ни предшественников, ни, что самое главное, нужд. Откуда этот феномен, единственный в природе — мозг, не порожденный реальными пущами эволюции?

В науке не любят вспоминать эту историю потому, что и сейчас точного ответа на этот вопрос наука не знает.

— Ну вот, все ясно, — сказал я. — Признаете вмешательство сверхъестественных сил. Как Уоллес. Приятно поговорить с культурным человеком.

— Нет, — сказал он. — Не признаю. Я верю в эволюцию. Только вот Уоллес изучал самые отсталые племена — почти нешерстных людей — и написал: «Оказалось, что умственные способности их намного превышают необходимость... то есть нехитрые способы добывания пищи... а их мозг мало чем уступает мозгу рядового члена наших научных обществ... Таким образом, природой создан инструмент, намного превосходящий нужды своего обладателя».

Насчет членов научных обществ — это предназначалось мне.

— Зря вы стали ворошить эту историю с Уоллесом, — угрюмо сказал я. — Успеха вы здесь не добьетесь. Только закроете себе путь в науку. На этом деле ломали себе шею люди не чета вам.

— Ученые, — сказал он.

— А зачем вам, собственно, понадобился Уоллес? — спросил я и тут же догадался. — Ага, понятно. Залетевшее откуда-то человечество, забывшее свою родословную. Значит, эволюция, только не земная, а где-то на другой планете. Стоит встать на эту точку зрения, и объясняются факты, доселе необъяснимые. А отсюда соблазнительная мысль — не является ли человек существом, прочно забывшим, на что он годен. А творчество — это внезапные воспоминания.

— Нет, — сказал он. — Я в фантастику не верю.

Помолчали.

— Тогда так, — сказал я, — либо вы против теории эволюции, либо вам кажется...

— ...Да, кажется, — сказал он. — Кажется, я нашел ответ на этот вопрос — откуда у человека мозг.

— Каков же этот ответ?

И тут он мне рассказал. Хотите верьте, хотите нет, но это была самая странная идея из всех, какие мне когда-либо приходилось слышать.

Идея сводилась к следующему.

Если мы верим в эволюцию, то мы должны верить, что и сами ей подвержены. Тут две трудности. Первая — в каком

направлении идет эволюция, если нам для приспособления к среде надо менять только орудия и отношения, а не свою биологию. Вторая — можем ли мы, будучи частицами потока, понять, куда движется река. Но дело в том, что мы — частицы, обладающие самосознанием, и мы заметили — развитие в природе движется то плавно, то скачками. Скачки бывают двух родов. Первый — когда происходит мутация — случайное, но закрепленное и необратимое изменение — тогда мы говорим о новом виде; и второй, качественный, в пределах одного вида, связанный с циклами его развития, типа: зерно — стебель — зерно. Оба эти вида связаны друг с другом. Мутация, происшедшая, скажем, от удара частицы, происходит у той особи, которая была подготовлена к этому, то есть в ней накопились качества, которым для кристаллизации в новый вид нужен лишь толчок. Должны накопиться и внешние условия, при которых обнаруживается, что существо, уродливое для прежних условий, для новых подходит как нельзя лучше и есть существо перспективное. Родился новый вид, гармоничный к новым условиям. Но новый вид — это новое нарушение биологического баланса в природе. Поэтому он вступает в борьбу межвидовую и внутривидовую. Межвидовая сохраняет вид в целом, внутривидовая шлифует качества вида. Но шлифовка качеств — это специализация породы. Она гармонична к данным условиям и не подходит к другим. Порода консервативна потому, что специализирована.Пусти болонку в лес — она погибнет. Скачок другого рода — это качественное цикличное изменение вида. Сеем зерно — оно дает стебель. Потом из стебля опять родится зерно. Оно порождено первым, но через стебель и потому отличается от первого. Чтобы из стебля получилось зерно, надо, чтобы в стебле были заложены качества, которые могли реализоваться в зерно. Если их нет, зерна не будет. Кроме того, нужна способность стебля к развитию, то есть способность приспособления к среде. Поэтому рост — это постоянное приспособление ко все время изменяющимся в известных пределах условиям. Поэтому так сложен рост и часто мучителен. Теперь возьмем человека. От всех животных видов он отличается прежде всего мозгом. Именно в этом проявилась мутация, сделавшая его особым видом. Вероятно, у той особи, у которой изменение мозга стало наследственным, было больше всего внутренних предпосылок стать человеком и так сложились внешние условия, что она не

погибла, то есть условия были благоприятными для разворачивающихся возможностей нового мутанта. Произошла встреча внешних и внутренних возможностей. И это был период, когда невероятная сообразительность человека сделала его царем природы. Поэтому можно предположить, что золотой век действительно существовал. Счастливый исторический момент, когда закладывалось зерно общества. Но так было до той поры, пока нехитрые потребности не превышали возможностей. Как только начали исчерпываться естественные возможности — проще, когда пищи стало не хватать для всех, — началась эволюция общества от родового строя до государства. Это был рост мучительный, как рост стебля в дурную погоду, потому что индивиды вступали в самые различные общественные комбинации, чтобы спасти себя и своих близких. Потому что жила память о золотом веке, который постепенно переносился в будущее, а с отчаяния даже — в загробный мир. Но обнаружилась странная вещь. Оказалось, что мозг человека, помимо сообразительности, то есть способности к абстрактному мышлению и логике, обладает еще одним странным качеством. При каких-то неизученных и неуследимых условиях он способен к акту творчества, о механизме которого я уже высказывал догадку: это непосредственное осознание законов и их возможных комбинаций для создания ценностей, не имеющих прецедентов в природе. Я не знаю, нужна ли для этого мутация вида или достаточно внутривидового изменения, чтобы произошел скачок, равный осознанию человеком своей способности мыслить отвлеченно. Я знаю только одно. Что если сейчас бывают моменты творчества и это самые счастливые для человека моменты, когда он на мгновение вступает в гармонию с собой, с миром и с законами, им управляющими, то только нехватка какого-то последнего условия мешает ему жить в этой гармонии все время. Но если есть предпосылки, то, значит, есть надежда на реализацию, а значит, опять возможен золотой век, где человечество будет в состоянии охватить сущность необходимых для него явлений. Мы идем к этому. Массовидность творчества говорит об этом. Нужен какой-то последний толчок. Наука должна найти его. Поэзия должна создавать предпосылки для счастливой встречи с ним. Мы сейчас люди стебля, но уже завязывается зерно.

Верите? — спросил он. — Нас ожидает скачок в мышле-

ние. Человек будет понимать сущность явлений без анализа. Простым созерцанием. Законы будут отпечатываться в мозгу, как на фотопластинке. Верите?

20. — СТОП, — СКАЗАЛ Я

— Как я могу в это поверить, подумайте сами?.. — сказал я. — Я ученый. Это красивая гипотеза, не больше. Фантастика. Можно даже логику построить. Но ведь вы же сами утверждаете, что логика — это связь между известными фактами, а разве этот факт известен?

Говорю, а самому тошно. Потому что я в это поверил сразу. Безоговорочно. Гипноз, наверно. А может быть, потому, что именно эта догадка мелькнула у меня самого как единственно возможное объяснение акта творчества.

— Значит, не верите, — сказал он и облегченно вздохнул. И засмеялся.

— Не могу больше, — сказал он.

— Вот и отлично. Вот и отлично, дорогой мой.

— Хотите, расскажу еще несколько баек?

— Стоп, — сказал я. — Довольно.

— Это все пустяки, дорогой учитель. Клоунада. Я все наврал в старинном духе. Фантастика.

— Врете. Вот теперь вы врете.

— Какая разница, — сказал он, и лицо у него стало светлое и отрешенное. — Смех и слезы, дорогой учитель. Нет ничего на свете, дорогой учитель, над чем нельзя было бы посмеяться. И легче всего над слезами. Даже над трагедией Шекспира можно. Может быть, смех — это единственное, что нас отличает от животного. Смеется только человек.

— Ну, подумайте, что вы говорите, — сказал я. — С вами всегда влипашь в нелепые дискуссии. Вы же прекрасно знаете, что есть вещи, над которыми не посмеешься. Тот же «Гамлет», например. Иначе я не знаю, что такое смешно.

Это была моя ошибка — которая по счету?

— Ерунда. Вы знаете, что такое смешно, — сказал он спокойно. — Вот, например, идет трагедия «Гамлет». Принц Гамлет читает монолог «Быть или не быть». И тут у него падают штаны... И дальше он читает монолог, придерживая штаны... А они падают и падают... А еще смешней, если они падают,

когда принц проклинаят свою мать, а за стенкой лежит труп Полония. А штаны все падают... падают...

— Перестаньте...

— А еще смешней, если штаны падают во время поединка с Лаэртом...

Я уже давно смеялся каким-то дрожащим козлиным смехом — я представлял себе дуэль без штанов, а в горле у меня закипали слезы. Оказывается, над Гамлетом (над Гамлетом!) можно было смеяться. Я перестал блять и посмотрел на него. У него широкий рот был искривлен в улыбку, а по щеке бежал ручеек. Мне казалось, что я гляжусь в зеркало.

— Вы чудовище... — сказал я.

— Я человек, — сказал он. — А вы посмеялись над предположением, может быть самым важным в истории человечества.

А что, если это всерьез? После этого я пошел к директору и все уладил. Три с половиной часа разговора — ему решили простить и на этот раз. Пусть только уедет в экспедицию. Экспедиция должна быть чрезвычайно интересной. После этого он подошел ко мне и сказал, что не едет.

— Я совершенно серьезно, — сказал он. — Я не еду с вами в экспедицию.

Я почувствовал усталость и отвращение. Этого было достаточно даже для меня.

— ...Ну что ж, — сказал я. — Вы подписали свое увольнение.

— Да-да, я знаю, — сказал он. — Мне пора уже уходить. Я и так чересчур задержался в археологии.

Мне уже все как-то было все равно — не знаю, можно ли так сказать. Я вдруг как-то сразу понял — это же смешно, ему же действительно в науке делать нечего. То, что я смутно чувствовал, подтвердилось. Я почувствовал облегчение. У облегчения был хинный привкус.

— Могли бы хоть раньше сказать. Сколько я хлопотал за вас. Думаете, приятно?

— Я тогда еще не знал, что ухожу.

— Что же изменилось?

— Мне скучно ехать с вами. Я понял, что вы найдете при раскопках.

— Понятно. Творческий акт. Догадались, не заглядывая под землю. Так что мы, обыкновенные люди, там найдем?

— Нет уж, — сказал он. — Поезжайте и найдите. С вами поедет мое письмо. Когда найдете, вскрыйте. А то опять не поверите. Итак... мы прощаемся с вами...

Он опять засмеялся.

— Стоп, — сказал я. — Стоп.

Ну что ж, оставалось только поехать и доказать ему и самим себе, что мы и есть венец творения, и что по-другому мыслить пока что не предвидится, и что он не мог угадать, что мы там найдем среди старых костей. И этим покончить с бредовыми идеями, которых за последнее время расплодилось что-то чересчур много вокруг меня, тихого человека.

21. ДА, НО ФИГУРА ШЕВЕЛЬНУЛАСЬ

И вот теперь только пустыня и мы с Биденко. Мы остались на сутки. У нас были предположения. Личные. Мы хотели их проверить.

В день отъезда ветер упал, и можно было с толком провести погрузку. Грузились хотя и без спешки, но внутренние торопливо. Как только прекратился ветер, все азартное напряжение последних дней показалось каким-то романтическим и почти сентиментальным. Все испытывали чувство неловкости и потому уезжали с облегчением, как будто старались что-то забыть. Лагерь кипел, как муравейник. Спокойная проза, заменившая пьяную лирику последних дней, ощущалась как глоток свежего пасмурного утра после прокуренной ночи. Дымились костры, свертывали палатки. Подошел Паша Биденко и тронул меня за локоть.

— Владимир Андреевич, — сказал он. — Я нашел ад.

— Вот как? — сказал я. — А Вельзевула?

— Нет, Вельзевула я не нашел, — ответил Биденко. — Хотите, покажу?

Ад так ад. Никакой мистики. Человек нашел простой реалистический ад. Мы еще и не то находили в этой экспедиции. Мы нашли в заброшенной штольне еще одного индриктерия и человеческие скелеты рядышком. Даже без анализа было понятно — возраст у покойников был одинаковый. Одногодки, так сказать. Видимо, поссорились и повредили друг друга насмерть. Мы разучились удивляться. Мы только старались не думать о том, как все это будет выглядеть потом и в каком

мы окажемся положении, когда ученый мир произнесет спокойное слово «блеф». А теперь Биденко нашел ад. Почему бы ему не найти ада?

Мы спустились в шахту. За месяцы работы она нам стала знакома, как истопнику котельная. Внизу заканчивались работы. Последние группы подтягивались к выходу. Мы уходили все дальше и дальше, пока не достигли хорошо известного нам тупика, которым заканчивался этот рудник.

А ведь все-таки он нашел ад, этот Биденко. Тупика-то ведь не было, а был оптический эффект. С того места, откуда мы обычно смотрели, казалось, что это действительно тупик. А другого места, откуда смотреть, не было вовсе. Потому что под ногами был колодец, уходящий неведь куда. Поэтому дальше никто не ходил, хотя и была дорожка у самой стены. Оказалось, если пройти дальше по этой дорожке, становится виден аккуратно вырезанный в породе сводчатый проход, в который мы и проследовали с Биденко. А он ведь все-таки нашел ад, этот флегматик. Я давно замечал, что истину труднее всего заметить, если она под носом.

Была даже река забвения — Стикс. Не было только перевозчика мертвых Харона и воды в реке. Зато было высохшее русло огромной реки да еще груды человеческих скелетов на дне. Видимо, Харон сбрасывал их прямо в воду. А может быть, это были скелеты тех, кто пытался бежать из этого ада и тонул в Стиксе. Еще бы не река забвения, когда из всех трещин высохшего русла поднимались серные испарения! Видимо, эти минеральные воды тысячи лет назад многих излечили от жизни.

Мы перебрались через русло и поняли, что тут-то и начинались настоящие рудники, все остальное было только преддверием ада. Я даже поискал, нет ли надписи: «Оставь надежду всяк сюда входящий», — но надпись почему-то не сохранилась.

— А ведь индрикатериев-то они держали для охраны, — сказал Биденко.

— Кто они?

— Не знаю. Дьяволы, наверно.

Станный и фантастический мир открывался взгляду. Видимо, здесь добывали золото, и, самое фантастическое, им был известен амальгамный способ. Запах серы поднимался от горячих источников, сочился в трещины и оседал каплями на

гладких стенах, промытых и отшлифованных сквозняками тысячелетий. Вонючая жара, отблески света. Странные тени дико метались на вспыхивающих кристаллах. При каждом движении возникали и пропадали рогатые морды. Но это все тени, тени, скачущие по изломам переходов. Выпрями и отгладь все неровности и изгибы, и останется только одна тень, мирная, ручная, вызванная ручным фонарем и описанная школьными, совсем ручными законами, и пропадут дьяволы. Может быть, все дело в этом? Спутанный невнятный мир, и вот появляются дьяволы и пляшут в переходах. Но приходит наука, разглаживает морщины вселенной и освещает дорогу вперед ровным светом карманного фонаря. Но это одна сторона. А представьте себе науку в виде ста, тысячи, миллионов карманных фонарей, освещающих огромный тоннель, уходящий в бесконечность. Но разве это наука? Это только один ее признак — мужество. Какой яркий скучный свет, какое выровненное пространство, в котором можно жить, но не хочется. Наука настороженная, наука, основанная на опасении, — какая невеселая наука. Тысячи лет назад хмурый ученый придумал ограду против дикого зверя «лошади». А веселый ученый приручил зверя и вскочил в седло. Он знал — нет бесполезной природы, есть только неоседланная.

Мы обходили черные колодцы, пробирались по тоннелям и штрекам и входили в залы, про которые можно было бы сказать, что здесь не ступала нога человека, если бы они не были выдолблены человеком тысячи лет назад. Какие люди их вырыли, чье невероятное неведомое благосостояние держалось на их адском труде? Было понятно, как возникла легенда о кругах ада. Для этого не нужна была фантазия, нужны были натурные зарисовки...

— Да... — сказал Паша Биденко. — Не знаю, кто был прототипом дьявола, но что касается ада, то лучшего места не подберешь.

— ...Подождите, Паша, — сказал я.

— Я хочу сказать, ад мы уже отыскали. Теперь найти бы дьявола — и можно писать отчет об экспедиции.

— Да тише вы... — резко сказал я. — Помолчите.

— А что?

— Вон... смотрите...

Мы как раз миновали черный колодец и стояли у поворота чрезвычайно ровного и гладкого тоннеля.

— Что это, Владимир Андреевич? — шепотом спросил Паша.

— Понятия не имею, — шепотом ответил я.

Далеко впереди была видна какая-то фигура. И это не было тенью.

— Скульптура... — нерешительно сказал Паша.

— Нет... — ответил я. — Она двигалась.

— Проверим, — сказал Паша и направил туда свет фонаря.

Фигура резко дернулась.

Я схватил Пашу за руку и оттащил назад. Паша поскользнулся и крикнул. Издалека донеслось что-то похожее на довольный смехок.

— Ну... что будем делать? — спросил Биденко, тяжело дыша.

— Пошли обратно, — сказал я. — Надо все обдумать.

Стараясь не очень спешить, мы пустились в обратный путь. Оборачиваться не хотелось. Иногда нам казалось, что за нами кто-то бежит, легко, словно на цыпочках, иногда слышался топот многих ног.

— Чепуха, — сказал Паша, покосившись на меня. — Обычное эхо. Многократное отражение. И хохот — это тоже эхо.

— Знаю, — сказал я. — А все-таки противно.

Потом мы, наконец, услышали голоса и добрались до первых групп, которые заканчивали работу. Слышался деловитый стук молотков, вспыхивали последние «блицы» жадных фотографов, группа отдыхающих занудно тянула что-то из туристического фольклора. Все было обычно и потому мило сердцу. Не верилось ни в ад, ни в дьяволов. Даже ископаемые чудища, которых мы уже вывезли на три вагона, казались изготовленными артелью наглядных пособий. Девочки и мальчики, мрачные дипломники и томные кандидаты наук, занимались самой мирной на свете наукой: собирали и хранили остатки уже неопасного прошлого, чтобы помочь людям не забывать своих ошибок, за которые они всегда расплачивались одной ценой — кровью.

А наверху, в лагере, пахло бензином и тушенкой, тяжело разворачивались грузовики и пищали транзисторы. Самая мирная, самая дорогая для меня картина — веселое человеческое кочевье, занятое поисками истины. Никакой дьявольщины здесь не пахло.

Да, но фигура в том дальнем подземелье шевельнулась.

Раздались выстрелы. Кто-то салютовал стартовым пистолетом, раздались крики «ура», и это было единственное спортивное мероприятие за всю экспедицию — такие были условия. Потом последние машины укатили, высыпали звезды. И остались мы с Биденко.

Да, но фигура в дальнем подземелье шевельнулась.

22. НАМ ЭТО НЕ ПОМОГЛО

И вот мы снова движемся по знакомым нам переходам, но теперь мы совсем одни на все подземелье, если не считать фигуры там, в аду, которая была бы совсем похожа на скульптуру, если бы не шевелилась.

Ярко светили заново заряженные фонари. Мы не имели права делать то, что мы делали, но опасности, видимо, не было никакой, во всяком случае опасности, предусмотренной инструкцией. За все время изучения этого проклятого рудника мы не обнаружили ни одного следа обвалов. Тысячи лет простояли эти штольни, с какой стати им было обрушиться именно сейчас. Весь мой опыт говорил — опасности нет. А о той опасности, которую не предусматривала инструкция, не знал никто. Опасность состояла только в том, что мы не взяли с собою даже охотничьих ружей. Не хотели возбуждать ненужные опасения. Считалось, что мы задержались привести в порядок записи. Паша только захватил с собой пару хороших топоришков да еще в последний момент взял у физорга стартовый пистолет.

Почему мы все-таки пошли? Ответ на это простой. Хотя, как у всякого простого ответа, предпосылки у него сложные. Мы пошли в этот ад вдвоем без оружия, без страховки, никому не сказавшись, нарушив инструкцию, короче — очертя голову, по двум противоположным причинам. Пошли потому, что для меня это было последнее в моей жизни приключение, а для Паши — первое. Что значит приключение, почему человек идет на риск, ничем не вызванный? Потому что он хочет проверить, на что он годен. Мне за семьдесят, Биденко за двадцать, между нами полвека. Мне скоро уходить, а ему начинать. Из всех моих учеников по-настоящему я верил только в него. Надо ли объяснять почему? Видимо, надо. Потому,

что он считает истину важнее себя. Полвека — и пять тысяч лет. Всего сто поколений тому назад кто-то бежал из этого ада, чтобы рассказать правду. И я верю, что это был ученый. Так же, как я верю, что первый, кто добровольно сюда спустился, был поэт. По преданиям, его фамилия была Орфей. Только вот возлюбленная, которую он почти вывел из ада и спас, не смогла пойти за ним без оглядки. Впрочем, с поэтами это происходит и по сей день. А кто из нас хоть немножко не поэт? Так вот, если это смогли они, когда существовали дьяволы, то это должны суметь и мы, когда дьявола дезавуировали из брандмайоров в простые топорники.

Все было настолько фантастично вокруг, что я еще подумал: а что, если дьявол в самом деле существует? Какие-нибудь пришельцы из другого мира, которые с известными только им целями проводят эксперименты над людьми и изредка подбрасывают им идейки вроде атомной бомбы.

Я подумал о фантастике потому, что стыдно признаться, но когда экспедиция уехала, мы с Биденко вскрыли это письмо. Мы вскрыли это письмо потому, что мы имели право хоть сколько-нибудь подстраховаться. А вдруг он действительно угадал, что за фигуры болтаются там, в подземелье?

Этим мы как бы допускали, что мы — серые люди, а он — прогнозист высшего класса, который разом, без выбора вариантов понимает сущность явлений. Все это, конечно, отговорки. Мы просто не удержались, когда мы остались наедине с письмом, и посмотрели друг другу в глаза.

Мы вскрыли это письмо. Но нам это не помогло.

Вот это письмо.

23. ГЛЯДЕЛ НА МЕНЯ

«Мне кажется, я знаю, что вы там нашли. Что касается ада, то это, конечно, золотые рудники. Однако почему я решил, что искать его надо где-то в этих краях? Потому что, когда я еще занимался Митусой, то обратил внимание на то, что восстание, в котором участвовал певец, было как раз, когда началось нашествие татарских орд Чингисхана, и, видимо, было как-то связано с этим нашествием. Тут я вспомнил, что слово «татары» — «выходцы из тартара», из ада. А что, если слово «татары» означало не национальность, а вы-

ходцев из какого-то места в тех краях, откуда двигались Чингисхановы орды и которое древние считали «тартаром», адом? Эта мысль засела у меня в мозгу потому, что она возникла внезапно, как отчетливый образ.

Как рождается образ, никому не известно. Это и не наблюдение, и не воспоминание, и не выдумка, и не механический сплав деталей. Образ — это самопроизвольно возникающее представление, обладающее не только необычайной отчетливостью, но и необыкновенной притягательной силой. Образ может быть и слуховым, и зрительным, и словесным, но это не галлюцинация. Творческий образ возникает сразу в своем материале — слышишь мелодию на рояле, видишь дворы, где никогда не бывал, или возникает страница книги, никем не написанной. Описать разницу между образом и выдумкой или воспоминанием не могу. Но каждый, кто сталкивался, знает.

Но как только образ возникает, над ним стоит поразмыслить. Как только мне представился ад, я подумал: нет на свете ничего ужасного, что бы мог придумать дьявол и чего бы не мог придумать человек. Ну, что там в запасе у дьявола? Киная смола и серные душегубки, бессмысленный сизифов труд, крючья, на которые подвешивают за ребра, танталовы пытки голодом и жаждой. Было, все было. Было и похуже — азиатские пытки крысой и европейские током. Все было. И все это делали люди. И если спокойно и холодно продолжить эту мысль, то она со ступеньки на ступеньку, со ступеньки на ступеньку будет опускаться все ниже и ниже и отправится по знакомому адресу, где на дверях табличка «Фашизм». На протяжении веков эта табличка менялась — иногда она называлась ад, иногда тартар, но все равно это фашизм. Проходит время, забывается теория фашизма, и вот уже детям кажутся выдумкой рвы с трупами и печи, где сожгли миллионы живых людей. А представьте, если истлеет пленка кинохроники, где бульдозеры сгребают в кучи голые тела, что останется через тысячи лет? Легенда об аде и застенках пыток. И уже никто не поверит тогда, что фашисты биологически не отличались от людей. И тогда придумают дьяволов, выходцев из тартара, как это уже происходило не раз. А ведь никаких выходцев из тартара не было. Были обыкновенные люди, но только потерявшие образ человеческого. Потому что тартар был у них в душах. Потому что тартар — это всегда расизм, то есть мысль, что человек другого племени — и не человек вовсе.

Оставим это. Тошно об этом думать и мерзостно писать.

Я прощаюсь с вами, дорогой учитель. Поэтому такое длинное письмо. Я запомнил вас еще с войны, ваше хмурое добродушие, ваше желание прислушаться к любому новому слову, от кого бы оно ни исходило, ваше спокойное умение выдать человеку аванс человечности и не очень торопиться получить проценты. Еще в войну из всех людей, которые случайно видели фотографию женщины, вы один не допытывались, кто она такая, хотя вы единственный человек, которому мне хотелось об этом рассказать. Женщины этой нет. Это образ. Еще мальчишками мы с художником Костей Якушевым и еще одним — физиком Алешей Аносовым сложили его из нескольких сот фотографий женских лиц — все тогдашние красавицы, — и у нас ничего не вышло. Мы складывали два переснятых негатива, взятых в одном масштабе, и делали одно фото. Потом мы складывали его с таким же сдвоенным фото и получали счетверенное. И так далее — в геометрической прогрессии. Мы остановились только тогда, когда уже ничего существенно не менялось. Мы получили странное, ослепительно красивое, но какое-то злое, почти мертвое лицо. И его забрал Костя. Потому что оно нам стало мерещиться и на улице и во сне. Через сутки Костя принес это фото обратно. Это было то лицо, которое вы знаете. «Я тут кое-что тронул, — сказал он. — Сам не знаю, как это получилось. А потом снова сфотографировал...» Изменений в лице не было заметно, это была та же самая женщина, но она была живая. Тогда мы все догадались, что такое творчество: не сумма, а скачок в новое качество — и затосковали. Потому что поняли: нам такую не встретить, а я обречен к ней стремиться. И еще мы поняли, как тяжело экспериментировать над человеком.

Еще два слова, чтобы покончить спор с вами, потому что спор — вещь неглубокая, по-моему, гораздо плодотворнее обмениваться идеями. Да и вообще спор — это не мое дело. Потому что искусство воздействует образами, а не доводами, даже если изображает людей, приводящих доводы друг другу.

Я прощаюсь с вами, дорогой учитель. Наука не совсем для меня. Если я правильно себя понимаю, мое дело — искусство. Поэтому я ухожу. Я подзасиделся в девках и пора уже выдавать продукцию. Просто я сделал большой виток и теперь возвращаюсь к пепелищу помятый и обогащенный. Я просто искал точку зрения. Если чересчур высоко взлететь — не вид-

но людей, чересчур низко — видишь брюхо соседа-исследователя, который твердо знает, что такое творчество, однако сам не плодоносит почему-то. Я подумал: а почему архимедову точку опоры надо искать вне человека, а что, если она внутри него? И тогда, догадавшись, что я-то ведь тоже человек, я пустился в поиски самого себя, справедливо полагая, что в случае неудачи потеря для всех небольшая, а в случае удачи это находка для многих. И когда я догадался, что Уоллес не учел скачков качественных, я одновременно догадался о том, где искать дьявола, и о том, каким будет мышление у будущего человечества. Потому что любой талант — это способность скачкообразно осознавать истину, и Леонардо да Винчи — это первый нормальный человек будущего, до сих пор обреченный на непонимание.

Таким образом, я опровергаю Уоллеса, а не поддерживаю его и делаю дальнейший вывод из теории эволюции. Хотите знать, как я пришел к этой идее? У всех нас есть чувство, что человек может быть лучше, чем он есть. А что значит быть лучше? Это значит соответствовать основным условиям своего существования. А основные условия для человека — это другие люди, отношения с которыми постоянно искажаются его и их вожделениями. Однажды я видел, как три тысячи человек слушали старичка, который сидел спиной к публике. И это были совсем другие люди, не те, которых я знал раньше. Старичок на органе играл Баха. И тогда я подумал, что если сейчас человек иногда бывает таким, то когда-нибудь он таким будет всегда. И если для этого надо стать музыкантом, художником или поэтом — в общем органистом, то я хочу им стать, чтобы тормозить души и готовить те времена, когда люди наследственно станут такими, какими они сейчас бывают в момент творчества. И тогда бы я без горечи отказался от клоунады. Потому что клоунада — это только начало. Над клоунами смеются, но скоморохи начинали битву. Клоуны всегда отстаивали поправное человеческое достоинство. А достоинство человека — в его способности радоваться нежности.

И я написал песню. Она называется «Песня об органисте, который в концерте известной певицы заполнял паузы, пока певица отдыхала»:

Рост у меня
Не больше валенка.
Все глядят на меня

Вниз,
И органист я
Тоже маленький,
Но все-таки я
Органист.

Я шел к органу,
Скрипя половицей,
Свой маленький рост
Кляня,
Все пришли
Слушать певицу,
И никто не хотел
Меня.

Я подумал: мы в пахаре
Чтим целину,
В воище —
Страх врагам,
Дипломат свою
Представляет страну.
Я представляю
Орган.

Я пришел и сел.
И без тени страха,
Как молния ясен
И быстр,
Я нацелился в зал
Токкатою Баха
И нажал
Басовый регистр.

О, только музыкой,
Не словами
Всколыхнулась
Земная твердь.
Звуки поплыли
Над головами,
Вкрадчивые,
Как смерть.

И будто древних богов
Ропот,
И будто дальний набат,
И будто все
Великаны Европы
Шевельнулись в
В своих гробах.

И звуки начали
Души нежить,
И зов любви
Нарастал,
И небыль, и нечисть,
Ненависть, нежить
Бежали,
Как от креста.

Бах сочинил,
Я растревожил
Свинцовых труб
Ураган.
То, что я нажил,
Гений прожил,
Но нас уравнил
Орган.

Я видел:
Галерка бежала к сцене,
Где я
В токкатном бреду,
И видел я,
Иностранный священник
Плакал
В первом ряду.

О, как боялся я
Свалиться,
Огромный свой рост
Кляня.
О, как хотелось мне
С ними слиться,
С теми, кто, вздев
Потрясенные лица,
Снизу вверх
Глядел на меня».

24. СЧАСТЛИВО ТЕБЕ ДОЛЕТЕТЬ, КЛОУН

Мы вскрыли это письмо, но нам это ничем не помогло. Никакой разгадки пресловутого «дьявола» там, конечно, не было. Потому что, конечно, там был третий конверт. Он знал, что делал, и неплохо вел партию в поддавки. И то хлеб, что даже при всей его фантазии ничего фантастического он не предполагал обнаружить в подземелье, а только что-нибудь очень человечески вредное. Но что именно? Живого фашиста, что

ли, который прождал нас в подземелье 5 тысяч лет? Интересно, чем он питался?.. Ну, тут начиналась фантастика... Бр-р... А все-таки жаль, что не взяли ружей.

— Владимир Андреевич... вот она... — сказал Биденко.

Впереди маячила неясная фигура.

...Все, что случилось дальше, было похоже на страшный сон. Да, пожалуй, это и был сон. Потому что только во сне можно было провалиться в такую зловонную клоаку, в которую я ушел по грудь, как только ступил на хрусткую корочку, покрывавшую ровный пол, ведущий к последнему переходу. Если бы не страховый пояс и не Биденко, потонуть бы мне в этом проклятом застенке. Мы выбрались, перемазанные какой-то дрянью, на твердое место, и, когда подняли головы, перед нами в неясном свете фонарей возникло чудовище.

Оно стояло перед нами неподвижно. Хотя вряд ли это можно было назвать неподвижностью. Серный дым окружал его полупрозрачной пеленой. За головой его то появлялся, то пропадал блеклый ореол, и тогда стоящие дыбом волосы его вспыхивали. Я сказал — за головой? Не точно. Оно все время меняло облик и как бы переливалось внутри черного силуэта. Страшная морда его двоилась, и руки его при движении утончались и вытягивались. Разглядеть его не удавалось из-за испарений и пляшущего света, от которого красными угольками вспыхивали глаза. Оно молчало.

Я нащупал в кармане стартовый пистолет. Защищаться нечем — вот он, тот свет, куда попадают грешники... Мелькнула сумасшедшая мысль: все-таки пришелец...

Костеня от ужаса, поднял свою стартовую безделку — инстинкт сильнее нас...

Чудовище тоже подняло руку. Она вытянулась вперед и удлинилась, словно щупальце. На конце щупальца я успел разглядеть пистолет с огромным жерлом. Спасения не было.

— Ложись! — дико вскрикнул Паша, прерывая оцепенение.

Я успел кинуться ничком — это в мой-то годы.

Раздался оглушительный выстрел. Потом тишина и полутьма.

Кто-то цепко схватил меня за щиколотки. Я вскрикнул и потерял сознание.

Очнулся я на холодке.

Черный огромный силуэт, склонившийся надо мной, засло-
нял звезды.

— Это я, Владимир Андреевич, — сказал Паша.

Сухие руки массировали мне сердце.

— Все в порядке, — сказал я. — Спасибо, Паша.

Как он меня тащил наружу по всем кругам ада, легко себе
представить.

Потом мы отлежались на песочке. Паша помог мне под-
няться, и мы поплелись к своему вездеходу.

Он победил нас, Сода-солнце.

— Когда вы догадались? — спросил я Пашу.

— Когда разбился фонарь.

— Я тоже. Ну, вскроем письмо. Интересно все-таки...

Мы вскрыли последний конверт и прочли его при свете фар.
«...Человек должен хоть иногда встать над самим собой. По-
тому что, кроме как на самого себя, ему надеяться не на кого.
Помните, у Грина: «Я лечу, я спешу по темной дороге...»

Я лечу, я спешу, я ищу нового человека, похожего на каж-
дого из нас, когда мы слушаем песню. Поэты всегда немножко
клоуны, но клоунада — это петушиный крик на заре. Пожа-
луйте нам света в пути, ученые.

Да, кстати, совсем забыл. Что же вы там нашли? Не огор-
чайтесь, дорогой Владимир Андреевич, в вас меньше всего
чего-либо дьявольского. Просто вы нашли первое на свете зер-
кало. Вот и все. Может быть, оно было кривое.

Сода-солнце».

...Счастливо тебе долететь, клоун.

Эксперимент

— Андреев Аркадий, рад познакомиться! К вам командирован для проведения эксперимента.

— Какого? — неторопливо, но настойчиво осведомилась Марьяна.

— Ого, рука у вас командирская!.. Вот этого я вам сказать не могу.

— Мило, но непонятно.

Андреев улыбнулся обворожительно.

— Поверьте!

— Верю.

— Денег дадите?

— Нет.

Андреев расхохотался.

— Весело?

— Очень!

— Мне кажется, мы познакомились?..

— Гоните?

— Могу угостить чаем.

Размешивая ложечкой сахар, Аркадий сказал задумчиво:

— Мне очень нравится ваш город. Жалко, что сразу после проведения эксперимента придется уехать.

Марьяна вежливо промолчала.

— Переоборудование института заканчивается через неделю. У меня, как видите, всего неделя...

— Считать я умею.

— Денег дадите?

— Нет. И разрешения не дам.

— Сколько вам лет?

— Двадцать два. Лабораторией руковожу два года. Налить еще?

— Марьяна, — сказал он серьезно и просто. — Попробую быть откровенным. Дело не в переоборудовании института. Я придумал любопытнейшую вещь. Хочу сделать подарок шефу. Старик чертовски обрадуется! Мне...

Марьяна резко выдвинула ящик стола, шлепнула на стол инструкции.

— Занятные книжечки. Читали?

Аркадий потускнел, поскуchnел.

— Прошу простить меня. В седьмом отделе у ребят моя тема, пойду потолкаюсь...

— И вы извините за некоторую нелюбезность. Я искренне сожалею.

У него был крепкий светлый затылок. Дверь бесшумно закрылась за ним.

Ночью Аркадий приснился Марьяне. Через весь сон — как тень от парохода по реке — его грустное полузнакомое лицо: серые с голубинкой глаза, твердые губы, жестковатые светлые волосы, улыбка киногероя. Сперва его вроде бы даже не было, а было только ощущение чего-то знакомого, похожего на него, и смутное раздражение от этого: он вызывал у Марьяны одновременно и симпатию и неприязнь. Ее злило его открытое желание расположить к себе ради неведомого ей эксперимента.

Сон колебался, дрожал водяной рябью, лицо Аркадия являлось ей то вытянутым, перекошенным, неприятным, то спокойным и сосредоточенным.

Придя в лабораторию, Марьяна первым делом вызвала Аркадия.

— Вчера я не очень хорошо поняла вас. В чем дело? Почему вы не хотите подать докладную? Может, это шутка?

— Нет, я не шутил.

— Как? Да вы что в самом деле! А вы знаете, что вы мне предлагаете?

— Знаю.

— Чего же вы хотите в таком случае?

— Чтобы вы нарушили инструкции.

— Послушайте, Андреев. Дело не в формальностях, пойте это. Я совсем не хочу, чтобы вы считали меня бессер-

дечной бюрократкой. Перестаньте морочить мне голову, вы не влюбленная барышня, а ученый. Вот вам форма, берите диктофон, сочиняйте. Обсудим...

— Ну да, а вечером Липягин будет знать все до крошечной формулки! Благодарю покорно.

— Интересно, откуда это он узнает?

— Не знаю! Через стены просочится. Мой шеф — гений. Ему хватит намека. Он отпустил меня порезвиться, поболтаться со сверстниками — вы же знаете, у нас моложе пятидесяти — единицы...

— Аркадий, я эксперимента не разрешу. И точка!

— Вот я и надеялся сдвинуть точку, а оказывается, точка — такая крохотная чепуховинка — тяжелей надгробной плиты.

— Не будем больше возвращаться к этому разговору. Мне нравится ваша привязанность к шефу, и вообще что-то есть в вашем сумасбродстве... Однако после катастрофы в Карае...

— Да, да... Ну что ж, пусть так.

— Как ребята из седьмого?

— Прелесть. Наивны и талантливы, как древнегреческие боги.

— Я улетаю до вечера, — сказала Марьяна, шагнув на круглую площадку подъемника. — Желаю вам хорошего дня.

И она нажала кнопку.

А ночью ей опять приснился Аркадий. Они шли по лугу, поросшему ромашками. Аркадий щипал цветок и что-то приговаривал. «О чем это вы?» — «Старинная считалка, бабка научила». — «Ну-ка, ну-ка...» — «Любит — не любит, плюнет — поцелует, к сердцу прижмет — к черту пошлет...» — «Очаровательно! Как это, как?.. Любит — не любит...» Было тихо и тепло, ромашки пахли тонко, как пыльца на крыльях бабочки, они сели на мягкую нагретую землю, Аркадий вдруг отбросил цветок. «Марьяна, мне хочется поговорить с вами всерьез о самом главном. Попробуйте понять меня. Ну катастрофа в Карае... Неужели вы думаете, что человечество навсегда гарантировано от жертв? Конечно, лучше, чтобы их не было, кто спорит! Но ведь мы все ходим по краю, мы вторгаемся в такое святое природы, что никаких гарантий нашей безопасности нет...» Лицо его было милым, искренним,

слова, немые во сне, не звучали, а входили в нее просто так, как входит солнце в кожу, и вместе с ними возникали сочувствие и непонятная радость. «А эти инструкции... Уже два века мы твердим, что человечество отвечает за каждого и каждый за человечество. В этом смысле нет разницы между мной и ученым советом. Так почему же я не могу сам решить судьбу эксперимента? Откуда такое недоверие? Если бы я был неграмотным ремесленником, мне бы не выдали диплома. А так... Я сказал вам неправду о шефе. Шеф очень культурно и талантливо скрывает от нас свое желание возвышаться недосыгаемой вершиной, наша смелость его пугает, и тут инструкции за него...» Марьяна слушала, теребя лепестки, и его слова обволакивались смутным и резким, как толчки крови: «Любит — не любит, любит — не любит...» «Марьяна, а вы сами? Вы умница, ребята вас обожают, но ведь не одно чаепитие и руководящие указания составляют смысл вашего существования? А что вы можете?..» «Любит — не любит, любит — не любит... А как там дальше?.. Плунет... поцелует...» «Вы тоже раба инструкций, раба совета и еще двух советов. Между вами и человечеством — три совета, и это считается благоразумным, такая цензура мысли, души!..» «К сердцу прижмет — к черту пошлет... своей назовет... Смешной мальчик, ужасно смешной ребенок. Кому он это говорит! Будто я думаю иначе. Помочь ему... Только я еще не готова. Не все ясно. В советах, конечно, полно старых дураков. Но безнадзорные молодые сумасброды... Вроде меня... Не такие уж мы сумасброды... Нет, не могу. Это слишком серьезно. Что-то мешает. Может, мы не доросли еще до всего этого...» «Может, мы не доросли еще до всего этого? Чепуха! Катастрофа в Карее произошла после того, как все планы были трижды утверждены и выверены. Ложные выводы из естественных событий...» Он взял ее за руку, она не отняла руки. «Марьяна! Мне так хотелось, чтобы вы поняли меня! Я уверен, вы согласитесь со мной! Разрешите мне эксперимент. Вы для этого знаете меня достаточно. А риск? Что ж риск! Я могу вам только сказать, что для жизни это не опасно. Если все получится...» — «А если не получится?» — «Получится! Да и не в этом дело. У меня не выйдет, выйдет у других. Важен принцип. К черту рутину! Марьяна, скажите, что вы согласны. Ну, Марьяна!..»

Когда она проснулась, ее поразило только одно: никогда раньше она не слышала этого «любит — не любит...».

Среду Марьяна провела в экспедиции в горах. Устала, спать легла поздно, ночью ей не снилось ничего.

На следующий день было совещание в седьмом отделе. Марьяна поздоровалась со всеми общим поклоном, но обрадовалась, увидев Аркадия около вакуум-камеры. Он стоял к ней спиной и что-то говорил монтажержу. Совещание закончилось быстро, под свист подъемников Марьяна весело прокричала Аркадию:

— Ну что, хорошо руковожу? Всех разогнала. Ребята из седьмого отдела отправились на два дня в горы.

Аркадий, покручивая цепочку с ключом от кара, проводил Марьяну до ее кабинета.

— В город? — спросила Марьяна.

— Да, в город. Может, составите компанию?

— Очень бы хотелось, но не могу. Через полчаса лечу в экспедицию. Если уж очень заскучаете, присоединяйтесь, но в общем-то не стоит, демонтаж... Вы знаете, Аркадий...

— Что? — спросил он напряженно, почувствовав в ее голосе что-то новое.

— Хочу вам сказать, что наш последний разговор меня как-то... В общем мне очень жалко, что ничем не могу помочь вам...

— Дайте красную полоску — и перестанете жалеть.

— Нет, об этом мы договорились твердо, исключено! Я не могу этого сделать. Хотя сердце мне подсказывает...

— А вы послушайте сердце.

Марьяна смутилась. Он смотрел на нее хорошо, открыто и немного грустно.

— Послушаюсь... После того, как вы напишете трактат «Физика и сердце».

— Люди только этим и занимаются из века в век...

— Ладно, надо работать.

Марьяна вскочила на ступеньку эскалатора, отыскивала пальцем знакомую до каждой выщербленной кнопки, но вдруг, что-то вспомнив, окликнула Аркадия. Он медленно вернулся.

— Послушайте, вы случайно не знаете такого старого-старого стишка: «Любит — не любит...»

— «Плюнет — поцелует, к сердцу прижмет...» Знаю, а что?

— Так, ничего, привязалось. Услышала где-то, а где — не могу вспомнить...

Она нажала на кнопку.

Ей хотелось, чтобы снова был сон. Она легла в постель с ожиданием этого, она внушала себе, чтобы сон приснился. И приснился. На этот раз совсем беззвучный, безразговорный. Сон был как кино: Марьяна отчетливо видела все, что происходило во сне, и вместе с тем она понимала, что это всего лишь сон, созданный ее собственным желанием, и, если ей очень захочется, он может вообще прекратиться или пойти как-нибудь иначе. Сон был ее собственный, такой, какого она хотела, и потому очень славный, приятный сон.

Марьяна и Аркадий сидели на лавочке перед окнами лабораторий, слетали желтые осенние листья, пахло прелью и сыроватой землей. Окна были зашторены и еще загорожены ветками деревьев. Вечерело, солнце грело несильно, но ласково. Марьяна ощущала ладонью правой руки прохладную и твердую ладонь Аркадия. Все ликовало в ней. Так они сидели долго-долго, потом он обнял Марьяну и поцеловал тоже долгим, бесконечно долгим поцелуем. Ей трудно было оторваться от него, она боялась оторваться, потому что знала, чувствовала: сон сразу кончится. Сколько это длилось? Минуту? Час? Ночь? Трепетали падающие листья, колебался теплый воздух, подрагивали теплые губы, нежно и некрепко прижатые к губам.

Когда днем Аркадий, попросив по видеофону принять его, вошел в кабинет, Марьяна встретила его, сияя.

— Хорошее настроение?

— Отличное.

— А у меня вот наоборот.

— Ничего, сейчас переменится...

— Да нет... Завтра мне уезжать.

— Ну, вот видите, времени для эксперимента все равно нет.

— Будет, если вы разрешите! Позвоню в институт, вымолю, ну... ногу сломаю, черт возьми! Придумаю что-нибудь.

— Вы действительно уверены, что эксперимент ничем не грозит вам?

— Абсолютно.

— Разве что меня снимут с работы...

— Ну и черт с ней!.. То есть, извините, я хотел сказать... Ну что вам эта механизированная кастрюлька? Поедем в Тулави, я читал ваш проспект, вы же практик, вам нужны масштабы, машины...

— Аркадий, дайте мне подумать до завтра.

— Идет!

— Я ничего не обещаю.

— Я надеюсь.

Они расстались, но чувство приподнятости, праздничности не проходило.

Ночью их разговор повторился с совершенной точностью. Разница состояла лишь в том, что она согласилась. Когда он уже собирался растаять, Марьяна притянула его за руку и сама поцеловала.

Наступила суббота. Покончив до десяти с делами, Марьяна решительно нажала кнопку пульта внутренних связей и вызвала Аркадия. Ей ответил дежурный: Аркадия нет, еще не приходил, готовится к отъезду. «Странно», — подумала Марьяна. Дежурный, не услышав никакого ответа на свое сообщение, стал нахваливать Аркадия:

— Ну и башка, нам бы такого парня! Нельзя ли его уговорить остаться? Хотя бы на месяц...

Но тут звякнул колокольчик, Марьяна кивнула, и вошел Аркадий.

— Здравствуйте. Скажу вам сразу: я согласна. Честно говоря, я сама давно об этом думала. Пусть все летит вверх тормашками, вы правы! Сколько вам надо денег?

— Марьяна, — сказал он, осторожно и как бы через силу опускаясь в кресло, — я от всего сердца благодарю вас, но мне ничего не нужно. Я пришел проститься.

— Как? А эксперимент?

— Состоялся. Все в порядке.

— Каким образом?

— Видите ли... Не сердитесь только, пожалуйста. Наш институт проверяет прибор для воздействия на человека в процессе сна...

— Что?!

— Только не подумайте ничего плохого! Программа была

разработана и утверждена всеми... — Он усмехнулся. — Всеми тремя советами, и действовал я точно по программе. В мою задачу входило убедить вас дать вопреки инструкциям согласие на эксперимент... Вот. И точно по инструкции...

— Точно по инструкции?

— Да, разумеется. Пяткин и Селко были на контроле. Кстати, я должен поблагодарить вас от имени Ассоциации за вашу очередную огромную помощь науке. На состоянии здоровья это, думаю, никак не отразится, но в сентябре вас и еще группу участников эксперимента — он проводился одновременно в семи объектах — пригласят в Тулави на конгресс. Это, если не ошибаюсь, ваша третья работа для Ассоциации?

— Да, — рассеянно сказала Марьяна, — третья. Все это очень интересно...

Она еще не могла прийти в себя.

— Научное описание я вам оставляю, через пару дней пришлю техника и еще материал для ознакомления. Марьяна, милая, поверьте, что, хотя все законно и вы сами отдавали себе отчет, на что идете, вступая в Ассоциацию, но я чувствую себя по-идиотски! Сложна еще наша жизнь...

Марьяна в это время о чем-то думала.

— Марьяна, ну что вы? Скажите что-нибудь!

— Скажите, Аркадий, это вы мне набормотали «любит — не любит»?

— Я, и очень обрадовался, что сигнал дошел. Иначе до конца недели я находился бы в полном неведении...

Марьяна покраснела.

— Но вы не подумайте, что это мое собственное творчество! Считалку откопал шеф, вы найдете ее в описании... А любопытная штучка, из дремучего времени гаданий и верований невесть во что, но любопытная... Мало мы еще знаем о человеке.

Марьяна, наконец, решилась.

— Вы, наверное, очень устали, я не знаю технологии, по каждую ночь...

— Что вы, не каждую ночь! Сеансы велись три раза.

— В понедельник, вторник, пятницу?

— Вот видите, эксперимент действительно удался!

— Удался... Но о человеке — вы правы — мы еще, ох, как мало знаем! Немногим больше тех, с ромашками: «Любит — не любит...» Еще один вопрос. Вы внушали мне во сне

решимость пренебречь инструкциями. Но, насколько мне помнится, речь шла об этом и наяву?

— Я действовал по программе, в мою задачу входило лишь усиление, на других участках эксперимент проводился несколько иначе, в двух случаях, насколько мне известно, прямое внушение, без какого-либо непосредственного контакта с объектом...

— Ну, а чем объяснить такой странный выбор темы?

— Совет-2 знаком с вашей докладной о работе лабораторий класса «Б». Мы как бы подтолкнули ваши мысли к окончательному выводу, на который вы все еще не отваживались.

— А... как там вообще насчет инструкций и трех советов?

— Ой, что вы, Марьяночка! Все это хорошо для эксперимента, — Аркадий доверительно склонился к Марьяне через стол, — но в жизни... Вы представляете, какой будет кавардак, если дать лабораториям красную полоску?!

Увидев, что Марьяна нахмурилась, Аркадий растолковал это по-своему.

— Вам лично, мне кажется, ничто не грозит, пришлют ответ на докладную, и на том все кончится. Никаких неприятностей не будет! Вы железная, я это могу подтвердить, и если бы не прибор... Да и Ассоциация вас защитит. Вы ей нужны... А теперь, как ни печально, я должен проститься, меня ждут.

Аркадий встал и протянул Марьяне руку.

— А как же...

— Что?

— Нет, ничего... До свидания, до сентября. Я давно не была в Тулави. А ведь и тут у нас неплохо, правда? Особенно сад. И скамейка под дубом — напротив моих окон...

— В сад не удосужился заскочить. Значит, обязательно еще вернусь сюда и на скамеечке вашей посижу... Извините еще раз и — спасибо!

— Ну, спокойного неба, коли так. Только еще одно. Я все это время была о вас лучшего мнения, чем сейчас. Знайте это. Мне даже грустно. Тот парень, который посылал к черту инструкции и даже ногу готов был сломать... Тот парень нравился мне больше. Вот что я вам хотела сказать.

— Ах, Марьяночка, удивительный вы человек. Я бы сказал — не современный. Но это прелестно!

Когда за Аркадием захлопнулась дверь, Марьяна стала ругаться вполне современно.

Последний порог

«По приказу Лак-Иффар-ши Яста был воздвигнут Дом смерти, который существовал полтора периода. Если линг, посящий красный знак совершеннолетия, желал прервать путь своей жизни, он приходил туда. И больше его никто не видел... Этот дом построил механик по имени Велт. Он же его и разрушил».

(«История планеты Сим-Кри», список 76, раздел 491)

«Окончательно ли твое решение?» Надпись шла через всю дверь справа налево. Покрытые некогда желтым олином, буквы облупились и потемнели. Всепроникающая пыль осела на них тонкой коростой. Одетые в пластик металлические косяки были испещрены торопливыми надписями. Их оставили те, кто вошел в эту дверь, чтобы никогда больше не вернуться. В углу громоздилась куча вещей, брошенных тысячами прошедших здесь: аппараты, показывающие время, браслеты, металлические коробочки для зерен кана. «Окончательно ли твое решение?» На вопрос нужно было ответить. Всего одним словом. Велт секунду помедлил, пытаясь унять разбушевавшееся сердце, и чуть слышно выдохнул:

— Да.

Дверь не шелохнулась. Зеленый глаз объектива настороженно следил за каждым движением линга. В полутемном тоннеле пахло сыростью. Тускло светила заросшая паутиной лампа. В застоявшемся воздухе висела безжизненная тишина. Только где-то далеко-далеко на кольцевой дороге погромыхи-

вали одноместные хитоплатформы: трак, трак, трак... Помимо лоли Велт, напрягая слух, ловил эти слабые звуки, пробившиеся в подземелье с поверхности. В них было движение, а значит — жизнь. Трак, трак, трак — словно кто-то безжалостный вбивал звуки-гвозди в голову, в грудь, в сердце. Велт стоял, слушал далекие звуки жизни и чувствовал, что в нем почти не осталось уверенности. Вот сейчас он попытается, повернется спиной к страшной двери и побежит. Побежит, подгоняемый ужасом. И будет бежать до тех пор, пока сердце не захлебнется кровью, пока он не почувствует запаха теплой земли, упав на облаканную солнцем траву.

А потом? Потом возврат к прошлому. Пока он здесь, угрызения совести, кошмары наяву, ночи, наполненные тяжелыми, как камни, думами, — это прошлое. Слезы матерей, холодная ненависть отцов и братьев, последние проклятия тех, перед кем открылись эта и двадцать других дверей Дома смерти. — это прошлое. Пока он здесь. Но вместе с дневным светом, вместе с жизнью вернется и все это. И родится новое — презрение к себе за минуту слабости.

Велт протянул руку и коснулся выпуклых облупившихся букв. Они были холодными и шероховатыми: «Окончательно ли твое решение?»

— Да! — четко и громко выговорил он, хотя каждая клеточка его тела, каждый нерв кричали «Нет!». — Да!

Стальная плита бесшумно скользнула вверх, открывая проход. В тоннель выплеснулся холодный свет. Велт оторвал от земли непослушные ноги и вошел в светлый проем. За спиной тяжелая дверь мягко опустилась на место.

Размер помещения нельзя было угадать. Оно виделось одновременно и бесконечно огромным и бесконечно малым. Таких его делали зеркала. Пространство, спертое и многократно отраженное зеркальными гранями стен, плитами пола и потолка, воспринималось как иллюзия. Казалось, даже время, устав метаться от стены к стене, остановилось и загустело, отброшенное в центр комнаты Последней Исповеди. И отовсюду на Велта смотрели его отражения — тысячи Велтов с худыми лицами и растерянными глазами. Неуклюжими, бесплотными толпами теснились они за гладью стен; перегнувшись, свешивались с потолка; корчились под ногами, будто вплавленные в пол. Велт был один на один с собой. Зеркала раздробили его на множество осколков, и с каждым из них — он чув-

ствовал это почти осязаемо — от него отделилась минута его жизни, капля его снов, мимолетность его надежд. В нем самом осталось так мало, что ни жалеть, ни бояться уже не стоило. И это ощущение пустоты, образовавшейся вдруг внутри, переросло в равнодушное спокойствие. Спокойствие обреченного. Велт прошел в угол и опустился в единственное кресло, стоящее у низкого металлического столика. Кресло было продавленное и потертое.

И сейчас же заговорила машина-исповедник:

— Жизнь уйдет, но не погаснет священный костер великого Чимпа, — произнесла машина ритуальную формулу. — Кто ты, переступивший последний порог?

Голос у нее был мягкий и тихий и такой знакомый, что Велт вздрогнул и невольно оглянулся, ища ту единственную, которой мог принадлежать этот голос. Чувства лгали — комната была пуста, лишь тысячи безмолвных отражений ловили его взгляд. Чувства лгали, но он не мог и не хотел противиться этому обману. Он откинулся на спинку кресла и нырнул в бездонный омут памяти. Холодные плиты пола рассыпались, превратившись в мягкую и теплую пыль проселочной дороги, а сам он стал совсем маленьким мальчишкой в коротеньком, до поцарапанных колен, ати; и мать звала его, и он бежал к дому вприпрыжку, взбивая фонтаны пыли.

— Кто ты?

Он подбежал, с размаху обнял ее и уткнулся лицом в теплый мягкий живот. А она гладила его по взъерошенной голове и что-то говорила. Он не мог вспомнить что, но слова были ласковые и немножко грустные.

— Кто ты?

Усилием воли он стряхнул оцепенение. Призраки прошлого растаяли и исчезли. Детство утонуло в омуте времени.

— Я — Велт-Нипра-ма Гуллит, механик, почетный линг Сим-Кри.

— Где и когда ты родился?

— В селении Ихт, что на седьмом узле Большого канала, в Год цветения голубой рэи. Это было четыре периода и семь оборотов назад.

Минуту машина молчала, будто взвешивая услышанное. Потом в динамике, спрятанном под куполом потолка, что-то хрипнуло, задребезжало, и механический исповедник... запел.

У маленького лица
Двенадцать бед.
Смеется он,
Но вы ему не верьте...

Машина пела грубым старческим голосом, залихватски выкрикивая отдельные слова. Исступленность, животный страх, отчаяние, бесшабашность — все эти чувства смешались в хриплом потоке песни, рвущейся из механической глотки. В утробе машины хрустело, взвизгивало, скрипело, словно кто-то невидимый разъезжал на дорожном катке по битому стеклу. Велта будто ударили в подбородок. Он вскочил и уставился в потолок расширившимися от ужаса глазами. Одновременно вскочили и задрали головы кверху тысячи его отражений. Машина пела. Это было неожиданно и дико. Это было как в бреду. Она может молиться вместе с готовящимся к смерти, плакать с ним, утешать его. Но петь она не должна. Он знал это хорошо.

У него другого дома нет,
Кроме Дома смерти...

Машина оборвала песню и официальным тоном чиновника спросила:

— Ты простился с теми, с кем связан кровью?

Велт не мог говорить, у него дрожали губы. Он стоял посреди комнаты и видел, как в этом зеркальном склепе мечутся обреченные, как, обезумев от ужаса, они бьют кулаками в стальную дверь, забыв, что она не может открыться, пока они живы. А взбесившаяся машина распевает уличные песенки вперемешку со священными псалмами. Исповедь, превращенная в пытку.

— Но как я мог узнать, что она испортилась? — словно оправдываясь перед глядящими на него отражениями, сказал он вслух. — Как я мог узнать?

Отражения молчали. Велт пошарил в кармане, вытащил несколько зерен кана и бросил их в рот. Наркотик подействовал сразу; легкая пелена затуманила сознание, спало нервное напряжение, расслабились мышцы.

— Как я мог узнать? — повторил он, опускаясь в кресло.

— Ты простился с родными?

— У меня нет родных, — устало отозвался Велт, — я последний из рода Гуллит.

— С друзьями?

— Сим-Кри оскудела честными лингами; у меня нет друзей.

— Друг, подруга, друзья, — сказала машина, — подружиться, дружить, дружба... Кому я должна послать извещение?

— Верховному Держателю. Он будет доволен.

Да, Верховный будет доволен. Он не умеет прощать оскорблений. А письмо, которое послал ему Велт, было требовательно и потому оскорбительно для деспота. Воображение, подстегнутое наркотиком, услужливо развернуло картину: толстый коротышка Лак-Иффар-ши Яст вертит в руках квадратик черного картона с выбитым на нем знаком Дома смерти и его, Велта, именем. Потом поворачивается к сопровождающим его чиновникам и с деланной скорбью говорит: «Какая потеря, наш лучший механик Велт покончил с собой». — «Этого следовало ожидать, — откликнется кто-нибудь из чиновников, скорей всего, это скажет долговязый Кут-Му, — последнее время он вел себя несколько странно». И все улыбнутся. Едва заметно, чтобы не нарушать приличий.

— Что сделал ты в жизни хорошего?

Машина-исповедник успокоилась, будто тоже пожевала красных зерен капа. Голос ее снова звучал мягко и проникновенно, хотя в нем все еще проскальзывали нотки скрытого беспокойства.

Велт пожал плечами, забыв, что машина не поймет этот жест. Сделал ли он что-то хорошее? Наверное, сделал. Трудно прожить четыре долгих периода, не сделав ничего стоящего. Что же все-таки? Велт закрыл глаза — так легче вспоминать. Ну, например, он сконструировал «жесткую тригу» — целую систему машин, позволившую добраться до богатств Второго материала. Это хорошо; иначе разве поставили бы его изваяние на берегу Белого озера рядом с изваяниями великих мыслителей и механиков Сим-Кри? Он открыл Закон волны. Его труд оценили — он стал триста семьдесят шестым почетным лингом Планеты. Он поставил колоссальный эксперимент с летающими дарнами и победил в споре с догматиками, заведшими в тупик науку о Вещах. Но главное не это. Он просто ходит вокруг, пытаюсь обмануть себя. Главное...

— Я создал тебя!

— Меня?

— Да. Тебя и весь Дом смерти.

Молчание длилось целую вечность. Машина обдумывала услышанное.

— Ты говоришь правду?

— На исповеди не лгут.

— Лгут, — сказала машина убежденно.

— Но я говорю правду. Я, механик Велт из рода Гуллит, построил этот Дом.

— Хорошо, — примирительно сказала машина, — если это так, ты должен знать, что тебя ждет.

— Знаю.

— Расскажи.

Велт вяло усмехнулся: «Проверяет. Как учитель завравшегося школьника».

— Когда кончится исповедь, ты откроешь дверь на Лестницу. Сорок две ступени. Одна из них — не знаю, какую ты выберешь на этот раз, — несет заряд энергии. Внезапный шок, и уже не живого, но еще и не мертвого ты сбросишь меня в бассейн с раствором куатра. Через семь секунд от почетного линга ничего не останется.

— Останутся пуговицы из пластика, — огорченно, как показалось Велту, сказала машина, — они не растворяются. Из-за этого я уже трижды чистила отводные трубы.

Велту вдруг стало весело. Ему стало так весело, как никогда в жизни. Его просто распирало от веселья. Он чувствовал, как из груди к горлу, из горла к губам катится щекочущий клубок смеха. У нее, оказывается, есть заботы! Пуговицы из пластика. Она чистит трубы и при этом, наверное, ворчит, как старуха, латающая старое ати внука. Ей плевать на судьбы тех, кто ежедневно стучится в двери дома, ей нет до них никакого дела... Если только пуговицы у них не из пластика.

— Ты смеешься, — сказала машина, — это бывает со многими. Я понимаю — нервы.

В динамике снова что-то всхлипнуло. Там, внутри, шла какая-то непонятная борьба. Неясные звуки — бормотание, присвистывание, сипение — рвались наружу. Следующий вопрос машина почти выкрикнула, стараясь пересилить шум.

— А теперь скажи, что сделал ты в жизни плохого?

Шум нарастал. Звуки накатывались волнами и, наконец, выплеснулись в комнату. Они заполнили ее до отказа, они

кричали о чем-то своем и бились о зеркальный лед стен. И вдруг наступила тишина. Звуки умерли мгновенно. Только одинокий гонг отсчитывал медные удары.

— Они всегда так, — сказала машина, — им не лежит в Хранилище.

— Кому? — недоуменно спросил Велт.

— Схемам, которые я снимаю с каждого после исповеди. Их накопилось слишком много, и они всегда стараются проскочить в речевой контур. Иногда я даже не могу с ними справиться, и они кричат через динамик. Но ты не ответил на вопрос.

— Да, — сказал Велт, — плохое я тоже сделал.

— Что?

— Создал тебя.

— Не понимаю, — сказала машина, — ты противоречишь себе. Только что ты назвал это дело хорошим.

— Хорошее может быть плохим, а плохое — хорошим.

— Это противно логике.

— Но это так.

— Я не могу понять, — сказала машина. — Я устала. Каждый линг — это задача, а у меня отказали два блока в решающем устройстве.

— Ты не поймешь, если даже у тебя будет тысяча исправных блоков вместо шести.

— Но я хочу понять.

Велт нащупал в кармане последнее зернышко кана. Глупая машина. Что она, собственно, хочет понять? Жизнь? Но жизнь выше логики. Любовь и ненависть, радость и горе, счастье и разочарование — разве можно решить эти уравнения без ошибки? Кто определит, где кончается одно и начинается другое? В дебрях чувств и мыслей так же легко заблудиться, как в лесах Катоны. И блуждать всю жизнь. Как он, Велт. И выйти, наконец, на дорогу и понять, что она ведет к Дому смерти. Глупая машина.

— Я хочу понять, — повторила машина.

— Что? — спросил Велт.

Он нагнулся над столом и нажал кнопку, торчащую сбоку желтым бугорком. В центре стола откинулась круглая крышка, и по трубе-ножке автомат подал вверх высокую узкую чашу, до краев наполненную соком винных плодов и дерева тук.

— Почему ты сказал, что, создав меня, ты поступил хорошо?

Велт сделал первый глоток и прислушался к себе, ожидая того момента, когда приятное тепло опьянения начнет разливаться по телу.

— Я был убежден, что делаю нужное и хорошее. Я считал, что дом поможет лингам...

— Умирать?

— ...жить.

— Не понимаю.

Ну, конечно. Бесплезно объяснять это машине. Разве она поймет, что истинная свобода — это прежде всего свобода распоряжаться своей жизнью? Почему линг должен жить, если он этого уже не хочет? Разве нельзя последовать примеру святого Чимпо, который, окончив свои дела и видя, что его жизнь больше никому не нужна, взшел на костер? Так считал он, лучший механик Планеты, когда вынашивал проект, так он считал и некоторое время после того, как Дом был построен. И его постоянно поддерживали и укрепляли в этой мысли. Сам Верховный Держатель много раз беседовал с Велтом на эту тему. Он говорил о кризисе, вот уже шестой период подтачивающем экономику Планеты. Он говорил о миллионах безработных, которые хотели бы покончить самоубийством, но не решаются на это, опасаясь, что похороны будут стоить слишком дорого. Для таких Дом смерти — благоденствие. А старики? Те беспомощные старики с трясущимися руками и ничего не выражающим взглядом? Они камень на шее своей семьи, лишние рты, объедающие общество. «Когда я стану стар, — говорил Лак-Иффар, — и мои руки устанут держать Священный жезл, я сам приду в Дом смерти». И еще он говорил: «Линг, потерявший интерес к жизни, но продолжающий жить, не только бесполезен, но и вреден для общества. Такие — основа беспорядка: им не дорога своя жизнь, и поэтому они не ценят чужие. Сорок два сословия, на которые разделено наше разумно устроенное общество, — это лестница, по ступеням которой поколения входят в историю. И каждая последующая ступень этой лестницы опирается на предыдущую. Потерявшие интерес расшатывают основы нашего строя, надеясь, что лестница рухнет им на голову. Они хотят умереть, и мы должны им помочь». Велт согласно кивал головой и удивлялся мудрости и гуманности Держателя.

Мудрость Верховного понимали не все. Многие были против. Осуждали.

Говорили: обман.

Говорили: кощунство.

Говорили: преступление.

Может быть, в этих словах и содержалась правда, но это была мелкая правда не умеющих глядеть в будущее, правда трусов. Она не заявляла о себе громко и во всеуслышание, она вползала в уши робким шепотом, она обряжалась в прозрачные одежды намеков, она отступала и пряталась, стоило ему сделать попытку рассмотреть ее поближе. Она была слишком непрочна, эта правда, и Верховный убил ее двумя словами — социальная демагогия.

Говорили. Шептали из-за углов. А он, Велт, строил. Он выбрал хорошее место — маленькую долинку у Обсидиановых скал. Он врезал Дом в черные камни, выведя на поверхность двадцать один вход-тоннель. Он построил автоматическую кольцевую дорогу, которая исключала возможность встречи друг с другом идущих на смерть у последних дверей. Он предусмотрел все: окружил дом защитным полем, добился безотказности всех механизмов, вместе с психологами разработал программу для исповедника. Он строил на века, где-то в глубине души надеясь, что собственными руками создаст памятник своему гению.

— Построив дом, ты облегчил жизнь лингам?

Велт вздрогнул. Он совсем забыл про машину, забыл, где он и по какому делу пришел. В чаше осталось совсем мало сока, на два глотка. Он взболтнул содержимое, и со дна поднялась серая муть осадка.

— Нет, — сказал Велт, — получилось все наоборот.

Да, получилось все наоборот. Борясь за ложную гуманность, он бросил вызов гуманности истинной. Появление Дома узаконило самоубийство и даже поощрило его. Соблазн легкого конца дразнил лингов, задавленных тяготами жизни. И они приходили к стальным дверям и говорили «да». И двери в небытие открывались. Сюда шли не только те, кого толкали страдания, но и те, кого вела мелкая обида, минутное заблуждение. А потом смерть стала модой...

Дом стал роком, символом поражения. Его существование парализовало волю и лишало смысла борьбу. Он провел черту между желанием и возможностью. Не было свободы жить,

была свобода умирать. Ложь — вместо надежды, исповедь — вместо пищи, равнодушие — вместо ненависти. То, что, казалось, прольет бальзам на раны страждущих, превратилось в соль, разъедающую язвы.

И робкая правда, втопанная в пыль, подняла голову и наполнила ночи Велта звонким шепотом. Это был шепот-крик, шепот-плач. Так кричит ночная птица шун над кровлей дома, в который пришла беда.

Она кричала: обман!

Она кричала: кощунство!

Она кричала: преступление!

Она кричала, что он, покорный злой воле, принес Планете горе, что он живет на ощупь, боясь открыть глаза.

Это страшно — день за днем разубеждаться в себе. Это все равно что идти к пропасти с завязанными глазами. Письма жгли руки, тысячи писем с проклятиями. И горы черных картонных квадратиков, которые пневмопочта приносила ему ежедневно. На них стояли совсем незнакомые имена. Они кричали, эти безмолвные картонные квадратики, аккуратно проштампованные двумя известными каждому буквами — «ДС». Они были как плевки, от которых невозможно спрятаться.

Он спрятался. Он бежал на Второй материк, забился в самую глушь, залез по горло в работу. Он отгородился от черных квадратиков и писем расстоянием и десятком секретарей. Он только не смог отгородиться от себя, от своей птицы шун.

Полтора периода вдалеке от общества. О нем должны были забыть, время стирает из памяти многое. Но первый же, кто заговорил с ним, едва он спустился по трапу с суперлана, напомнил ему о доме. Это была старая женщина с лицом, состоящим из одних морщин. Она тронула его за рукав и спросила:

— Скажите, высокочтимый, это не страшно?

— Что? — не понял он.

— Ну, там, в вашем Доме...

Он отшатнулся от нее. Но она цепко ухватила за одежду и быстро-быстро заговорила:

— Он ведь был еще совсем мальчик, только успел красный знак получить...

Он вырвался и убежал, расталкивая прохожих.

А вечером к нему пришел Урам-Карах, и от него Велт

узнал о таблетках. «Совсем крохотные, — шепотом говорил Урам, — как пылика. Достаточно одной, чтобы почувствовать неодолимое желание умереть. Вар-Луш, Кам-Дан, Фот-Грун — разве ты согласишься, что они ушли в дом добровольно? Кто может теперь сказать Лак-Иффару, что он отступает от Девяти Правил? Никто. Понимаешь?»

Велт допил сок, осторожно поставил чашу на стол и, обращаясь к самому себе, сказал:

— Пора кончать.

— У тебя в запасе еще четыре минуты, — отозвалась машина, — время исповеди не истекло.

— Пусть вечность, которая меня ждет, будет на четыре минуты длиннее.

— Ты торопишься умереть?

— Нет, я тороплюсь уничтожить тебя.

— Уничтожить? Ты не можешь этого сделать.

— Я ведь смог тебя создать.

— У тебя нет никаких орудий.

— Я сам — орудие.

Он встал, оправил одежду. Усмехнулся: привычка.

— Как ты собираешься это сделать?

Он знал, что она не может ему помешать. Она не открыла бы ему дверей, имея он с собой оружие, она пресекла бы любую попытку разрушить ее снаружи. Снаружи дом был слишком хорошо защищен. Но, пустив его внутрь, машина подписала собственный приговор. Программа не предусматривала защиты от живой бомбы, какой он сделал себя.

— Прежде чем идти сюда, — сказал он, — я проглотил две малых меры ситана.

— Что это — ситан?

— Вещество. Порошок. Когда я упаду в бассейн, ситан соприкоснется с куатром и...

— Взрыв?

— Колоссальной силы.

— Так, — сказала машина, — ты хорошо придумал. Но взрыва не будет, я не пущу тебя на Лестницу.

— Каждый, кто попал сюда, должен ступить на Лестницу. Даже если ты этого не хочешь.

Он подошел поближе к внутренней стене и громко сказал:

— Я готов!

Зеркала разошлись, открывая узкий проход. Прямо под но-

гами начинались ступеньки убегавшей вниз Лестницы. Белт занес ногу.

— Подожди, — почти крикнула машина, — подожди! Умирать так страшно. Хочешь, я выпущу тебя отсюда?

— Ты не можешь этого сделать. Я знаю.

— Это правда. Прощай. Я включила запись всепланетной панихиды. Ты ведь почетный линг.

— Прощай.

Он оглянулся и помахал рукой своим отражениям. Они ответили ему тем же жестом.

Пра-пра...

(Киноповесть)

«Человечеству — меньше 10 тысяч веков. За одно столетие — четыре человеческих поколения. Приставив к словам «бабушка» или «дедушка» 40 тысяч «пра», любой получит свою обезьяну, прямого предка.

(Из разговора)

«Житейские драмы идут без репетиций».

(Афоризм)

ПРОЛОГ НА ЗЕМЛЕ

1 августа. Наблюдательная станция службы космоса. Зарядка. Ленч. Мирные разговоры: «Погодка вроде бы устоялась». Исторические события близки, но не предвидятся.

13 часов. Аппараты для приема сигналов неведомых цивилизаций включены. Как всегда, ничего. Лейтенант Кит приказывает «приступить к самосожжению», все ложатся загорать. Исторический характер остроты еще никому невдомек.

13.30. Доставлена новая установка. Испытания.

13.30—13.45. Военные и штатские готовятся: антенны в небо. Пустой голубой экран. Два корреспондента с магнитофонами. Традиционное пожелание шефа «поймать Большую Медведицу, пока она еще Малая».

Все, не подозревая, совершают и произносят историческое.

13.45. Кнопки нажаты.

13.46. «Мама!» (по утверждению некоторых — «О мама!») — исторический крик дежурного. На экране — темно-зеленый океан.

13.47. Общий хохот (исторический): телепередача или рекламный трюк? Вызван шеф.

13.52. Исторический свист шефа: приборы показывают, что передача внеземная. На шкале «Расстояние до объекта» — 6 световых минут (108 миллионов километров), стрелка ползет дальше.

13.54. Шеф медленно вращает экран. Океан. Затем темно-желтая суша. Деревья или нечто похожее. Крупный план: камень и надпись на нем, отчетливо видны знаки или буквы.

Все записывается на пленку.

14.00. Лейтенант находит, что знаки похожи на пауков. Первому корреспонденту они напоминают кроссворд. Второй: «Все это я где-то видел».

Материалы переданы в Мозговой центр (жаргонное — «головастикам»): 16 специалистов, 2 машины. Все головастики приходят к общему мнению: знаки на камне содержат информацию о высокоразвитой космической цивилизации.

16.00. Шестнадцать специалистов и две машины обнаруживают некоторое сходство полученного космического пейзажа с земным ландшафтом.

2 августа. 0.30. Мозговой центр.

Головастики предельно утомлены. Частое употребление оборота: «Если эти люди смогли передать такую информацию, то они, конечно...»

0.32. В Мозговой центр проникает врач института, отец одного из крупнейших головастиков, Скелед-старший. Встречен равнодушно: «Уж не хочет ли доктор помочь? Интересный клинический случай, сэр: одно уравнение с парочкой неизвестных — неизвестный язык и неизвестные значки, сэр».

Скелед-старший: «Где ваши значки, мальчики?»

0.33—0.38. Время, достаточное для произнесения основных ругательств, известных м-ру Скеледу-старшему (в сокращенной записи Скеледа-младшего): «Джентльмен характеризует присутствующих как ржавых киберов и червивых интегралов, имея в виду нехватку у них серого вещества, а также пробелы в образовании. Заключительная тирада Джентльмена: «Сме-

шивают Суллу с Суламифью и Тигр с Тибром, причем еще гордятся, что все-таки слышали обо всем этом... *Ваши значки, пауки и кроссворды — обыкновенные древнеегипетские иероглифы!*»

0.40—1.30. Шок и послешокое состояние у всех слушателей Скеледа-старшего. Последний дает обычные в подобных случаях медицинские советы. Возгласы: «Старик спятил», «Спятили мы», «Нет, это уж слишком», «Не слишком ли это?»

Возгласы (исчерпывающие познания присутствующих о древнеегипетской цивилизации):

- Апис,
- Ибис,
- Анубис,
- Клеопатра,
- Пирамида,
- Мемфис.

В библиотеке Мозгового центра из материалов, относящихся к древней истории, обнаружена лишь страница 542-я справочника «Who is who» («Кто есть кто»), раздел «Специалисты по классической и восточной истории и филологии».

1.05. М-р Скелед-старший уполномочен действовать.

1.45. В Мозговой центр м-ром Скеледом-старшим доставлен профессор Иеремия Дзэй — крупнейший египтолог государства. Профессор газет не читает принципиально, о сегодняшнем открытии не знает. Про космические исследования слышал однажды от лифтера. Головастики демонстрируют профессору Дзэю увеличенное изображение камня со значками.

Профессор Дзэй, не затрудняясь и нараспев:

«Я, Сенусерт, царь Мира, повелитель Верхнего и Нижнего Египта — говорящий и действующий. Я видел тысячи спин бегущих людишек народа Куш. Семь и семь раз их царь молит о пощаде. Я же сделал угодное Ра и другим богам и казнил мужчин страны Куш, а женщин и детей не казнил, но сделал вещь страны Египет, а женщины и дети страны Куш радовались великой царской милости и благодарили богов семь и семь раз за милость царя Мира, повелителя Верхнего и Нижнего Египта. Мое величество видело это. Это действительно так. Храбрость — это пылкость, трусость — это...»

Профессор Дзэй сожалеет, что надпись не закончена. Ему было бы интересно знать, что называет трусостью фараон XII древнеегипетской династии Сенусерт I.

«Примерно 1970 год, джентльмены, — год, близкий к нашему. Только эра не наша. Хи-хи. Профессор Бэшк будет убеждать вас, что это Сенусерт II, в то время как общеизвестно, что при Сенусерте II закорючка над некоторыми иероглифами стала значительно изящнее».

2.00. Известен ли профессору этот текст и обелиск?

2.01. Профессору Дзэю обелиск неизвестен, и, следовательно, он не существует. Все, что в Египте обнаружено над и под землей, профессором прочтено и изучено. Обелиск, стоящий столь открыто на местности, был бы, без сомнения, описан. Этого не случилось, обелиск профессору Дзэю не известен, следовательно, он не существует.

2.04. Как профессор Дзэй объясняет присутствие давно не существующего обелиска на экране?

2.05. Профессор дает понять, что его не занимают проблемы, выходящие за рамки собственно египтологии.

2.06. Профессору представлены четыре характерных пейзажа.

2.10. Профессор (почти не затрудняясь): Обелиск, что на первой фотографии, сохранился, он стоит у границы со страной Куш, то есть Нубией, близ первого порога Нила. Пейзажи № 2, 3, 4, очевидно, крепости в Нильской дельте. Крепости эти ему также неизвестны и, следовательно, не существуют.

2.12. Очередная информация со станции службы космоса. Все объекты, зафиксированные днем, продолжают просматриваться. Видимость ухудшилась, так как на объектах наступила ночь и над пейзажем № 3 хорошо заметны Большая Медведица и другие созвездия.

2.13. Вопрос: согласен ли м-р Дзэй, что уже в течение десяти часов прямо с неба, со стороны созвездия Орла, поступают изображения древнего Египта?

2.20. Профессор Дзэй (не проявляя заметных признаков беспокойства) замечает, что подобная информация не слишком удивила бы древних египтян, отлично знавших, что на небе находится второй Египет, не говоря уже о многом другом.

12.00. Собирается совещание крупнейших астрономов, историков и египтологов. Одним из последних прибывает профес-

сор Бэшк, ранее упоминавшийся профессором Дзеем, глава второго течения в египтологии.

Зачитывается коммюнике:

«Около суток Станция службы Космоса наблюдает несколько пейзажей, сменяющихся при малейшей перемене угла наклона экрана. Источник волн — в направлении созвездия Орла. Передатчик находится вне пределов солнечной системы. С объекта идет непрерывная передача изображений различных частей Египта периода так называемого Среднего царства, то есть примерно 4000-летней давности».

Эмоциональные возгласы присутствующих.

На экране изображения, только что принятые на станции. Тот же обелиск. Около обелиска два оборванных человека — старый и молодой; жестикуляция, движение губ, смех. Оборванные садятся и закусывают.

Профессор Бэшк: «Я понимаю, что они говорят. По движениям губ».

Профессор Дзэй — сарказм и недоверие.

Профессор Бэшк снисходительно ссылается на свою прежнюю практику в школе глухонемых и продолжает: «Эти оборванцы — лучшие резчики по камню. Пришли заканчивать надпись. Старик поносит молодого, клянет жизнь и оскорбляет царствующего монарха. Молодой советует ему пойти в столицу и произнести то же, но погромче, чтобы «оборвать эту жизнь, подобную запаху крокодила, сдохшего пол-луны назад». (Профессор Бэшк настаивает, что эти люди выражаются именно так.)

Резчики съедают по лепешке, пьют воду и принимаются за дело. Переносят на камень какие-то иероглифы с клочка папируса («Храбрость — это пылкость. Трусость — это...»).

Пока они работают, корреспонденты спрашивают: «Что все это значит?»

Профессор Дзэй считает гипотезу о небесном царстве Ра и космическом Египте несколько преждевременной.

Скелед-младший сообщает об одном из возможных объяснений Мозгового центра. В принципе любой предмет на Земле, если он не заперт в сейф или не зарыт в морское дно, отражает свет. Получается точный портрет каждой вещи. Сверхслабые лучи, пересекая солнечную систему, уходят к звездам и летят бесконечно далеко, бесконечно слабая. Но вдруг на их пути оказывается планета с высочайшим уровнем техники.

У НИХ замечательные усилители, возвращающие энергию утомленному лучу. Практически ТАМ отчетливо виден любой земной предмет. Затем ОНИ (назовем их «икс-планетой») считают нужным усиленное изображение вернуть нам.

Вопрос. Итак, свет взаимы, с возвратом; какова техническая идея?

Председатель удовлетворенно констатирует существование круга вопросов, где ученейший академик и его малограмотная супруга обладают сходной компетенцией.

Вопрос. Где ОНИ? Расстояние?

Скелед-младший: Если гипотеза Мозгового центра (возвращенные земные изображения) верна, то возможен довольно точный расчет. Среднее царство, XII династия, — это Египет около 2000 года до нашей эры, то есть 40 веков назад. Это число надо разделить пополам: 2000 лет, — чтобы получить ТАМ световую копию земной жизни, еще 2000 — для доставки копии обратно (если интервал между получением и отдачей не слишком велик). Значит, минимальная дистанция до «икс-планеты» — около 2000 световых лет, или 80 000 000 000 000 000 километров. В нужном квадрате неба находится Кси Орла, звезда 12-й величины, удаленная на 1965 световых лет. «Икс-планета», возможно, вращается вокруг этого солнышка.

Вопрос. Отчего на экране только Египет?

Ответ. Принципиально ничто не может помешать «икс-планете» рассматривать всю Землю. При малейшем изменении наклона экрана видимые объекты исчезают, появляются новые. Уже сделан заказ на громадные, свободно вращающиеся экраны. Есть надежда в ближайшем будущем увидеть всю Землю за 40 веков до нас.

Вопрос. Это что же получается? Сейчас, возможно, в данную минуту, ОНИ разглядывают древних римлян, греков и галлов, а через 20 веков примутся за нас? А ежели они — какие-нибудь мерзавцы, бесстыдники — будут совать нос в наши тарелки, бумаги, постели? А как насчет неприкосновенности личности и жилища?

Председатель признается, что ему ничего не известно о носках джентльменов с «икс-планеты». Однако председатель считает вполне вероятным, что ОНИ незримо присутствуют на этой пресс-конференции и с опозданием на 2000 лет не только

увидят всех присутствующих, но по движениям губ узнают все сказанное в их адрес.

Шум. Смятение. Крики: «Задернуть шторы!», «Осторожнее!», «Мы в ответе перед нашими правнуками!»

На экране два древних египтянина собирают инструменты, сплевывают, собираются спать.

Профессор Дзэй читает, не затрудняясь, законченную надпись: «Храбрость — это пылкость, трусость — это ускользание».

Конец пролога

Часть I

К этому привыкли, как привыкают ко всему. В каждый дом внедрился КОСМЭК — «Космический экран» с четырьмя миниатюрными дисками. Красный — географическая широта, зеленый — долгота, синий — высота над уровнем моря, серый — размер изображения.

Несколько движений руки — три измерения определяют любую точку планеты. На экране — что и где угодно, уменьшенное, цветное, натуральное или увеличенное: черный коралловый песок полинезийских пляжей (впереди еще три безлюдных тысячелетия); ветер колышет глухие чащи по обоим берегам Москвы-реки. Солнце заходит в Вавилоне, запираются ворота в начале и конце каждой улицы; пьяная оргия во дворце правителя египетских Фив; отряд индейцев-охотников сквозь заросли Юкатана подкрадывается к поселениям первых земледельцев; любовное объятие на берегу Конго; буран, чудовищный и бесшумный, над Южным полюсом — XX столетие до нашей эры во всех подробностях.

По Солнцу и звездам на чужом небе, по древним календарям, в которые заглянули, вращая 4 маленьких диска, вычислили: первые принятые изображения — это 20 октября 1965 года до нашей эры. Мир молод. До римских императоров и первых христиан остается примерно столько же, сколько прошло после них.

В 20 — 40-х широтах, вплотную друг к другу — первые государства: Египет, Крит, Троя, Вавилон, Финикия... Какие-

то города и таинственные культуры в Индии, ранняя заря китайской цивилизации. На всей остальной планете отсутствуют города, цари, письменность, рабство, астрономия и налоги. Первобытность вольная и дикая: шлифованные каменные топоры, первый металл, стада, охота, урожай и голод — общие, разделенные на всех.

Великие писатели и ученые того века нам неизвестны и — «следовательно, не существуют», известны лишь два десятка сильных мира того.

Рассматривать ничем не защищенную чужую жизнь было в новинку: кинотеатры пустеют, телевизионные концерны разоряются либо переходят на производство КОСМЭЖов.

Создается КОСМЭЖ с приставкой для синхронного перевода с древнеегипетского, арамейского, вавилонского и еще десяти древних языков (по движению губ говорящих), и контакты с предками достигают небывалого.

УЧЕНЫЕ

Ученые мечутся за добычей. Сверхъестественный расцвет египтологии, вавилоноведения, семито-, крито-, индо- и других логий. За месяц высчитаны численность населения, площадь лесов и угодий, производительность труда, калорийность пищи и преступность.

Пять видных литературо- и искусствоведов торжественно отрекаются от профессии. (Через 1200 лет на экранах ожидается Гомер, через 3500 — Рафаэль, Шекспир, через 3750 — Пушкин — каждая минута биографии, каждая строка полных собраний сочинений. Зачем гадать и мудрствовать?)

14—15 серьезных открытий в сутки.

Эффектные астрономические наблюдения за древним небом.

Расшифровка древних знаков и наречий (по движениям губ, размахиванию рук, переписке).

Атлантида не обнаружена.

Зафиксировано не менее десятка снежных людей (горных и лесных).

Кроме морского змея, тура и мастодонта, еще с полсотни

вымерших и неизвестных видов. Измерение и взвешивание на глаз. «Метод Мольера-Портоса» *.

В Ливии, Канаде, Индии обнаруживаются курганы с несметными сокровищами. Создана АСП (Археологическая скорая помощь). Археологи дежурят у сверхзвуковых самолетов и по тревоге вылетают к указанным пунктам, опережая (или не опережая) других «наблюдателей».

И все же академии наук получают множество писем-вопросов.

Вопрос. Отчего история так скучна: в книгах все было интереснее?

Ответ. В книгах она быстрая, здесь медленная. Двухлетняя война на 20 страницах занимательнее, чем двухлетнее — изо дня в день — разглядывание: поход, бивак, стычки, жара; поход, бивак, еды достаточно, воды не хватает; стычки, жара, воды достаточно, еды не хватает.

Группа молодых ученых тогда объявляет: «История всего лишь монтаж». Они склеивают наиболее важные кадры, вырезая неважные (двухлетняя война за 10—15 минут: начало похода, главная битва, конец). Смотреть такую историю интереснее. Однако побеждает лозунг «История всего лишь ускоренная съёмка»: начало похода, затем ускорение — кадры сливаются, серая бегущая лента создает настроение медленно, быстро или безумно быстро текущего времени (в зависимости от скорости). Внезапная остановка — битва, бивак, поход, — несколько минут медленно и подробно. Новый бег ленты. При этом цветковые эффекты, музыкальное сопровождение создают необходимое настроение.

Телевизионные фирмы наносят контрудар: «История — это правда плюс вымысел плюс ускоренная съёмка». В подлинные исторические кадры (из КОСМЭКа) вкрапливаются кино-театро-цирко-трюки, эффекты и пейзажи. История делается еще интереснее. Телевидение возрождается.

Спустя три месяца институты общественного мнения делают следующие выводы: около $\frac{3}{4}$ зрителей космэков смотрят случайное — что подвернется. Процентом 10 следят за опре-

* «Виконт де Бражелон» А. Дюма, книга третья: портной Мольер обмеряет Портоса в зеркале, не допуская плебейских прикосновений к барону.

деленными семьями, лицами (красавцы, красавицы, цари, министры), еще 10 процентов избегают людей, предпочитая флору, фауну и пейзажи. Прочие — ученые-профессионалы — следят за «объектами».

Новая ситуация неплохо всасывается людскими рефлексами: каждый день, возвращаясь домой, привычно вращают цветные диски — охотятся за наиболее занимательными прапра (взятое 200 раз) дедами.

Наступает неслыханный расцвет частных, общественных и государственных фирм КОСМЭК-реклама (РЕКОСМЭК).

Один из первых рекламных плакатов: «4000 лет — всего лишь 100 миллиардов секунд. По полминуты на каждого из нас... Не жалейте времени, пользуйтесь услугами РЕКОСМЭКа».

Отныне за небольшую плату сообщаются координаты наиболее захватывающих зрелищ, зафиксированных громадным штатом фирмы.

Жестокая борьба с тайными продавцами красивых закупок, зланных мест — особенно в Мемфисе и Сидоне — и зарытых сокровищ.

Новые формы рекламы:

«Вид на пирамиду Хеопса одновременно сегодня и тогда».

«Исполинское мамонтово дерево в Иеллоустоне. Оно же молодое и тоненькое...»

«Место, где был твой дом, 40 веков назад».

Кроме того, максимальный успех:

«Восстание и бегство 3 тысяч рабов города Урука в Месопотамии». (За день до бегства наблюдатель из Венгрии обнаруживает провокатора, двое суток все человечество у КОСМЭКов. Бегство состоялось — праздничные демонстрации в ряде городов.)

«Тайное убежище грабителей и убийц в двух кварталах от дворца фараонов» (на вторые сутки синхронный перевод монологов и диалогов притона — только по специальным разрешениям).

«Трогательный роман 26-й дочери Микенского царя с плотником»: невозможность встреч, печаль, поиски выхода...

Однако фирма терпит убытки, гарантировав клиентам грандиозную охоту на львов целого суданского племени (негры раздумали: вождь был ленив).

Быт и нравы изменились.

Образованы воспитательные бюро при РЭКОСМЭКах: для учебных сеансов по истории отбираются нравоучительные сюжеты: занятия в школе писцов (Египет), экзамены в мореходных училищах (Финикия).

О трудностях, недостатках, иногда — достоинствах своей семьи любой желающий сообщает в бюро и вскоре получает координаты древней семьи или нескольких семей на выбор со сходными проблемами. Рекламные фотографии семейств, спасенных от разрушения.

Но возникают трудности: скандал на образцово-показательном уроке с применением КОСМЭКов в балтиморском колледже: «Скажите, Филд, хотели бы вы походить на Хети — лучшего ученика мемфисского Амона-колледжа, которого вы видите сейчас на экране?» (в это мгновение Хети показывает язык спине старшего учителя). Филд хотел бы походить на Хети...

Балтиморский колледж требует от РЕКОСМЭКа уплаты неустойки за несоблюдение гарантии.

В Саламанкской колонии (несовершеннолетние гангстеры) при демонстрации быта массагетов (рекомендация РЕКОСМЭКа: община, скотоводство, мирные наклонности, уважение к старшему, нравственность, умеренность) на глазах 7 тысяч несовершеннолетних несколько молодых людей съели (довольно быстро) своих престарелых родителей с полного согласия последних: «Лучше покоемся в родных желудках, нежели в песке и глине».

ГОЛОСОВАНИЕ

Академия наук объявляет общепланетную дискуссию на трех уровнях:

- а) ученые и их машины;
- б) обыкновенные люди;
- в) писатели-фантасты.

Миллионы голосов были собраны через телецентры.

Всего два вопроса: 1. Отчего ОНИ не представились?

2. Как заставить ИХ открыться?

**Признаны заслуживающими внимания следующие ответы
(в порядке убывания голосов):**

Вопросы	О т в е т ы		
	Ученые (люди и машины)	Обыкновенные люди	Фантасты
1. Отчего ОНИ не представились?	1. Черт его знает.	1. ОНИ были 4 тысячи лет назад на Земле и теперь транслируют фильм.	1. Уже несколько тысячелетий на Землю летят космические гости — вдогонку им с родной планеты посылается информация о событиях на Земле.
	2. Ждут, когда мы научимся смотреть. Научились: через 4 тысячи лет представятся.	2. Черт его знает.	2. Их цивилизация давно вымерла.
	3. ИХ вообще нет. Имеем дело с каким-то природным явлением (абсолютно загадочное возвращение, усиление лучей).	3. Пусть нам докажут, что все это на самом деле, а не подделка. 4. Грешны мы очень... 5. Разведать все хотят — шпионят.	3. ОНИ уже открылись: населенные миры бесчисленны. На одном из них в точности повторились земные формы жизни и история. Они не нас, а себя показывают.
2. Как заставить ИХ открыться?	1. Никак. Ничего не знаем...	1. Разве их заставишь?	1. Увеличить тиражи научно-фантастической литературы.

Вопросы	О т в е т ы		
	У ч е н ы е (люди и машины)	О б ы к н о в е н н ы е люди	Ф а н т а с т ы
	2. ОНИ откроются, когда сочтут нужным.	2. Написать по всей Земле большие лозунги: «Мы вас любим. Явитесь, пожалуйста». И пусть дети просят (в вариантах — правительства).	2. Отправить на «икс-планету» — экспедицию — настоящую или фиктивную (испугаются — откроются).
	3. Изобрести что-нибудь такое, чтобы рассмотреть ИХ, как ОНИ — нас.	3. Нечего их заставлять. Как бы чего не вышло. 4. Покаяться в грехах своих. 5. Раздразнить: написать большими буквами что-нибудь обидное («Не можете появиться да?», «Бойтесь!», «Идиоты»). 6. А чего с ними разговаривать?	3. Окружить Земной шар непроницаемым экраном, пока ОНИ не ответят. 4. ОНИ — это мы: древние земляне открыли возможность сохранить прошлое для будущего.

Часть 2

Но и к этому привыкли, как привыкают ко всему.

ПРЕДСКАЗАНИЯ

Заседает правление РЕКОСМЭКа. В его услугах все меньше нуждаются. Необходимы новые выдумки.

В рабочем бюро РЕКОСМЭКа громадный плакат: «Долой привычки!»

Период зрелищ сменяется периодом предсказаний.

Эксперты напоминают, что ученые давно в этом деле упражняются.

Председатель РЕКОСМЭКа ставит большие задачи: урожай, уровень Нила — это и дурак предскажет. Дурак с цифрами. Но можно ли предсказать завтрашнее настроение фараона или исход эламо-вавилонской войны?

Эксперт. Советский историк Аригенский, проанализировав жизнь рабов в большой греческой усадьбе, попытался предсказать завтрашние события. Во время ливийского набега на Нижний Египет в прошлом месяце он вычислил оптимальный вариант действий египетской армии (отступление к развилке дорог, затем — быстрый маневр в тыл врагу).

Египтяне произвели маневр Аригенского без колебаний.

Однако не все предсказания сбываются.

6 тысяч рабов доставлены на земляные работы в Фаюм. Губернатор должен выбрать, строить ли плотину за шесть месяцев или плотину такой же полезности — за два года.

Аригенский уверенно предсказал вариант I, губернатор, не колеблясь, назначил вариант II: «Раб не должен видеть слишком быстрого результата своих трудов: поверит в свою силу, осмелеет...»

Вскоре все прорицают и предсказывают.

Азартные игры, тотализаторы в апогее. Ловят миг удачи в настоящем, прошедшем и будущем. Один из нью-йоркских маститых игроков теряет состояние на скачках в Ассирии, поставив не на ту колесницу.

Большой популярностью пользуется игра «Угадайка». За лучшие ответы — призы РЕКОСМЭКа.

— За какой срок скандинавский инженер-дикарь изобретет необходимое ему колесо?

— Кто больше вырубит деревьев каменным топором — индеец (в лесу недалеко от будущего Нью-Йорка) или профессор Нью-Йоркского университета (в пригородном парке)?

Правительства находят азартные игры, связанные с человеческими жертвами, аморальными и налагают на некоторые виды предсказаний ограничения.

Зато никаких ограничений на конкурсы египетских мудре-

цов (победителю — государственные премии, придворные должности).

Любой обладатель КОСМЭКа мог участвовать в конкурсе и молниеносно передавать свои ответы по радиотелефону — непосредственно в РЕКОСМЭК. (Призы: новая модель КОСМЭКа, координаты особо замечательных новых мест и ситуаций.)

Всем памятны конкурсные задачи критского, халдейского, троянского жрецов и некоторых египтян. Как древние — почти слово в слово, — отвечал лейтенант Кит (из Службы космоса).

Вопрос. Что бы ты выбрал, золото или ум?

Большинство мудрецов (и лейтенант). Золото: ведь каждый берет то, чего ему недостает.

Вопрос. Как женить 100 юношей на 100 девушках, если 50 девушек прекрасны, а 50 — уродливы?

Мудрецы (и лейтенант). 50 молодых людей вносят выкуп за прекрасных, те отдают деньги уродливым. Уродливые обеспечены приданым и добывают деньгами еще 50 холостых юношей.

Вопрос. Что делать, если тоска влечет человека в дальние края?

Лейтенант (а затем мудрецы). Сидеть дома, ибо невозможно посетить дальний край без того, чтоб он не стал ближним и потому непривлекательным.

Однако захватывающий диспут, во время которого в РЕКОСМЭК поступали миллионы ответов, прекращается разгневанным фараоном: на два вопроса подряд Сенусерт отвечает раньше мудрецов, что весьма сильно роняет их в царских очах.

Вопрос. Что дальше от Египта — Крит или звезды?

Фараон. Конечно, Крит: звезды хорошо видны, а кто разглядит Крит из Египта?

Вопрос. Отчего обезьяна так похожа на человека?

Фараон. Из свойственной ей любви к подражанию.

«Истина не в вас, а тут!» — воскликнул повелитель двух Египтов, поглаживая вместительную сандаловую шкатулку...

Опозоренные мудрецы изгнаны.

Впрочем, призы — критский жрец и лейтенант Кит — свое получают.

Его открыл Аглимс, любитель тирских кабаков, не упустивший случая нацелить туда свой КОСМЭК.

В первый вечер Каальбо — лысый, старый, коренастый, то ли финикиец, то ли сириец — рассмешил Аглимса необычайно затейливой перебранкой со злою купчихой Хабибой.

Хабиба (голосом, подобным скрежету канатов). Отродье моллюска, помесь козла и обезьяны, плевок Тифона!

— Гнилая раковина, помесь моллюска и ослицы, лысая верблюдница, — быстрой и деловитой скороговоркой отвечает Каальбо. И его голос ласков.

Хабиба хрипит, ударяет кулаком по столу, задыхается и выкрикивает проклятья и ругательства одно за другим, но злоба и хрип душат ее, и между словами образуются интервалы, в которые Каальбо молниеносно вставляет ответ.

— Пьяный отброс, — хрипит Хабиба.

— Драгоценнейшая крапива из царского сада, — отвечает Каальбо.

— Хрюкающий пес!

— Благоухающая крокодилица Египта!

— Змеиная рвота.

— Прекраснейшее подобие дохлой кобылы.

— Дурак!

Каальбо запнулся. Простейшее ругательство требует какого-то особенного ответа, который куда-то запропастился. Еще мгновение, и Хабиба, вдохнув и выдохнув новое слово, победит. Каальбо напрягается, краснеет, рот раскрыт — все за краткий миг. И вдруг только что проданный в рабство тощий ассириец, словно проснувшись, скрипуче выпаливает из угла:

— Сама дурак!

Харчевня облегченно хохочет, Каальбо подпрыгивает от восторга, тощий раб снова молчалив и безразличен, Хабиба же кидается на землю и катается с визгом и рычанием, ломая браслеты из раковин и не трогая браслетов металлических. Высунув голову из-за столба и перекрывая ржание целой харчевни, Каальбо добивает противницу бессмысленным хриплым воем, кукареканьем и шипеньем. Купчиха же мчит в мглу, кусая до крови собственные руки и выдирая клоchyя волос из собственной головы. Ибо в финикийском Тире женщины сердят очень сильно.

— Истина там, — хлопнув по черепу тощего раба, заорал Каальбо, — истина там, как говаривает царь царей Сенусерт, поглаживая свою сандаловую шкатулку, про которую, впрочем, ничего не известно.

Вслед за тем Каальбо нашел, что день прожит хорошо, и, достав мешок, швырнул туда белый камешек («После смерти сочитайте, каких больше: белые камни — хорошие дни, черные — плохие»). Тут Аглимс сделал гениальное предположение, что старичок не прост, и, проследив за ним, донес в Академию искусств, что открыл поэта, ибо тот весь вечер строчил что-то на папирусе, а написанное читал с завыванием, изредка вскрикивая: «О, как бы мне сказать еще не сказанное, но увы — ведь сказано все» *.

Аглимс получил от Академии обычную денежную премию «За обнаружение ценностей, одушевленных и вещественных». Пять литературоведов устанавливают пристальное наблюдение за чердаком полусгнившего дома на улице Рыбьей чешуи в городе Тире (старик проживает с бабушкой в возрасте, обычном для бабушки 50-летнего человека, и зарабатывает, продавая загадки изнывающим от скуки состоятельным юношам).

На второй день литературоведы объявляют: Каальбо — гениальный, абсолютно неизвестный поэт древности. Масса специалистов устремляется в священную лабораторию поэтического творчества, из-за плеча заглядывая в арамейские строчки. У Каальбо — почти готовая эпопея: роман в стихах или поэма — как угодно.

Содержание. Корабль выходит в океан: рифы, чудовища. Лишь потом выясняется, что герой, как две капли воды похожий на автора, давно слоняется по свету в поисках счастья.

Каальбо временами бормочет: «Начало. Начало: в начало напихать побольше, покрепче, пострашнее!» Быстро вписывает в пролог целые эпизоды.

Герой был богат, любим, служил — все надоело... Отца убили (яд в ухо — во сне), его призрак почему-то является сыну. Мать вышла за убийцу отца. Герой ссорится с матерью, земляками — его изгоняют из родного города, а он: «Вы меня приговариваете к изгнанию, я вас — к пребыванию на месте». Потом он пьет, развратничает, создает теорию равновесия по-

* Несколько перефразированный фрагмент из литературы Среднего царства.

роков: «Излишек вина, расширяющего кровеносные пути, уравнивается вдыханием благовоний, сжимающим жилы. Утомление волокитством снимается избытком сна. Скитания, драки согласуются с обильной едой».

В море героя снова пугают призраки, драконы. Он же спокойно объясняет, что верит в них и поэтому не боится: «Вот когда в вас не будут верить, а вы являться будете, вот тогда придет настоящий ужас» (все это, разумеется, прекрасными ритмическими стихами).

Через неделю Каальбо прославлен, не сходит с КОСМЭКов.

Начато сооружение его памятника и мемориальных музеев. Объявляется всепланетный конкурс: «А что он напишет дальше?» За семь дней Каальбо последовательно провозглашен: основоположником мировой трагедии, гамлетизма, донжуанизма, донкихотства. В воскресенье около полудня он основал сатиру: герой попадает в Египет — всюду люди, говорящие завершенными верноподданническими формулами. Фараон молится и приносит жертвы самому себе, ибо сам есть божество! Создав сатиру, Каальбо (к величайшему негодованию экспертов) пьянствует трое суток, а вернувшись, добавляет в пролог еще несколько авантюрных эпизодов.

Но, заметив, что папируса осталось мало, сжимая строки, пишет эпилог — «гениальное предвосхищение изящных эпилогов Ренессанса и постренессанса» (из статьи признанного авторитета). В эпилоге герой встречает старого друга — они вспоминают, что близится день, в который много лет назад они вместе кончили школу. Оба радуются — клянутся найти старых товарищей и основать город друзей. Затем пускаются в путь к синей бухте, которую запомнили с детства, чтобы осмотреть место будущего города. С ними тощий, молчаливый раб-ассириец и юный сын друга...

Здесь как раз кончались поэма и папирус.

Три близкие по тональности статьи — о солнечном, эллинском оптимизме поэта, прорезающем мрачную безысходность Востока, — публикуются рекордно быстро.

В день появления статей Каальбо (после завершения поэмы наблюдение за ним ослаблено) добывает у бабушки клочок почти чистого папируса (старуха записывала на нем свои годы, чтобы не забыть). Набрасывает окончание эпилога: друзья отправляются к голубой бухте... Из города, который они

только что покинули, выбегает, захлебываясь ругательствами, жена друга и спутника героя.

«Простонародный строй диалога, почерпнутый из самого воздуха тирских харчевен, не нарушает лучезарных, чеканных ритмов повествования» (из вступления к новой хрестоматии). Друг героя не выдерживает стонов и проклятий жены, закрывает лицо, возвращается.

Герой целует и отпускает тощего раба. Они расходятся в разные стороны...

Поэт еще вписывает какую-то душераздирающую подробность в самое начало.

Вечером Каальбо в харчевне у порта «Что к Египту».

Садится на пол и читает — громко и чисто — пролог: море, приключения, страсти.

Там же купец Астарим, богатый и неграмотный: грамотность — средство, богатство — цель; достигнутая цель не нуждается в средствах.

Астарим и прочие прислушиваются. На самом интересном месте Каальбо умолкает. Просьбы, обещания; купец раскошеливается — Каальбо не уступает, потом отдает свиток за хорошую цену. Купец убегает домой (к грамотным рабам).

Двое суток литературоведы и читатели наблюдают то, что Каальбо именует «Великим кругом»: последовательное посещение и возлияния поэта и целой ватаги поклонников — во всех прибрежных кабаках Тирского острова. В последних кабаках питье в складчину. Первой ночью Каальбо бросает в мешок белый камень. Во вторую ночь мешок теряет. Заводит новый. Огорчения литературоведов компенсируются обширной стенограммой поэтических выражений, оборотов, идиом, цитат, стихов, сентенций, поговорок, произнесенных на «Великом кругу».

В доме Астарима поэма прочтена вслух, одобрена и выброшена в мусорную яму, заведенную еще по приказу культурного царя Хирама Великого.

ЗАГОВОР

Первым обнаруживает его в своем КОСМЭКе претендент на египетский престол, изгнанный из страны после объявления республики.

Претендент принимает через КОСМЭК только Сенусерта как равного, блюдет его безопасность, выискивает и находит козни.

Претендент интуитивно не доверяет Килумэ, главному пыточнику, «начальнику тех, кто добывает слово», и заместителю «царского уха» (министра полиции).

За Килумэ наблюдает вся семья претендента и на третьи сутки ловит подлеца с поличным. (Материалы, координаты передаются в РЕКОСМЭК и египтологам.)

Пленка со встречей Килумэ и Ифоса размножена, просмотрена, обсуждена.

Ифос — абсолютный монарх одной из воровских империй (резиденция — в притоне близ фараонова дворца, хорошо известная РЕКОСМЭКу). Элегантный убийца, мот принят при дворе, где славится совершенно особенным смехом. Придворная шутка: «Так бы квакала лягушка, будь она с жеребца». Сильнее обычного хохотал, собственноручно прикалывая нубийских заложников: ведь смешно, что здоровых, могучих мужчин режут, как баранов, они же ничего поделывать не могут...

Пленка воспроизводит краткую, но вдохновенную беседу «начальника тех, кто добывает слово» с абсолютным монархом воровской империи.

Килумэ недоволен положением, окладом, начальством: фараон спасен от трех покушений только благодаря его усердию (третье — по инициативе наследника).

Великий визирь и «ухо царя» — министр полиции — бесильны без Килумэ и сподручных.

Килумэ нужна помощь молодчиков Ифоса. Материалы о 412 преступлениях Ифоса (из которых лишь 73 не заслуживают казни немедленной) в руках Килумэ: краткий их обзор Ифос прерывает, считая эту часть беседы неделовой.

Килумэ намерен взять власть в Египте, совершив не больше трех убийств. Нет, только не убийство его величества Сенусерта! Килумэ — человеку не слишком знатного рода — было бы трудно оспаривать права многочисленных принцев.

Убийство фараона — вариант крайний и нежелательный.

План Килумэ:

1. Он прогуливается в саду близ дворца ежедневно в полдень, и все привыкают к этой привычке.

2. Однажды в саду на него набрасываются бандиты в мас-

ках — люди Ифоса — и ранят слегка в руку. Килумэ дома, больной.

3. Через день люди Ифоса нападают на «царское ухо» и убивают его. Килумэ гарантирует тайный вход и выход из дома министра полиции, успех, безопасность: охрана высоких персон давно доверена ему.

4. Верные люди распространяют в городе и при дворе мысль: Килумэ болен лишь два дня — и уже убит министр: вся надежда на Килумэ.

5. Фараон повышает Килумэ (делает «ухом») или не внемлет молве. Во втором варианте Килумэ все болеет, Ифос же убивает великого визиря, а через некоторое время — если надо — наследника (Килумэ гарантирует успех, безопасность). Молва: «Был бы Килумэ, не было б убийств».

6. Истребление видных лиц прекращено в тот день, когда Килумэ делают «вторым из двух» — великим визирем. Килумэ — спаситель. Царь во всем ему доверяется.

7. Сенусерт царствует, Килумэ правит. Раз или два в году он организует покушения, припугивая повелителя. Впрочем, заговорщиков Килумэ открывает и уничтожает.

Ифос же благодаря убийствам больших персон прославлен в уголовном мире и владевает над ним.

8. Килумэ и Ифос правят легальным и подпольным Египтом.

Гангстер не возражает. Килумэ не напоминает, что сделает, если Ифос предаст: предпоследнее дело людей Ифоса — ограбление храма отца царствующего фараона — заслуживает «12 видов мучительной казни».

В ряде университетов и академий — повышенный интерес к ситуации. Программа Килумэ передана кибернетическим системам. Вскоре получены результаты:

67 процентов — осуществление.

15 процентов — случайный провал.

18 процентов — закономерный провал (различные варианты).

Три машины решают задачу на предотвращение ситуации.

Первая машина: необходимо усовершенствование личной контрразведки монарха.

Вторая машина: нужна регулярная смена сановников (ма-

шина настаивает на периодичности 4,0—7,3 лет. Та же машина находит, что польза простой отставки сановника в 3,5 раза превышает пользу казней.

Третья машина требует введения демократической представительной системы (машина не настаивает на всеобщей подаче голосов с первого же дня).

Тогда же египтолог профессор Дзэй информирует прессу, что Сенусерт будет вскоре убит или умрет своею смертью, престол же перейдет к наследнику и соправителю Сенусерту II. Свое предсказание профессор аргументирует таким образом:

1. После Сенусерта I в самом деле правил Сенусерт II.

2. Сенусерт I правил 55 лет (с чем согласен даже профессор Бэшк, который ни в чем не согласен с профессором Дзэем).

3. Путешествуя с КОСМЭКом вдоль Вади-Хаммамат в пустыне между Нилом и Красным морем, профессор Дзэй обнаружил два колоссальных обелиска: «Победа Сенусерта над ливийцами на 35-м году правления», «Голод и чудесное возвращение изобилия благодаря молениям фараона в 54-ю годовщину царствования».

Значит, 34-й год уже прошел, а 55-й идет.

Профессор Бэшк признает справедливость цифры 55, не отрицает подлинности обелисков, но с профессором Дзэем все равно не согласен, ибо «согласия с профессором Дзэем быть не может».

Заявление профессора Дзэя, подкрепленное голосованием киберсистем, пользуется большой популярностью. 65 процентов зрителей убеждены в близкой гибели фараона.

Неусыпное наблюдение за Сеиусертом не обнаруживает никакой осведомленности фараона.

Сенусерт живет, как прежде. Обычные развлечения, доклады шпионов, министров, похлопывание по сандаловой шкатулке: «Вот тут, когда умру, — главное...» Часто уносит шкатулку (никто никогда не видел ее открытой) в подвалы сокровищницы — запирается и невидим. (Небольшой блиц-конкурс «Содержание шкатулки».)

Килумэ ежедневно в полдень прогуливается по дворцовому саду. «Как это вы, почтенный Килумэ, в такую жару, каждый полдень?..» — «Привычка, знаете ли...»

Дополнительные соображения профессора Дзэя о 55-м годе правления: в Оксирихе найден папирус, где Сенусерт II говорит: «Ах, если б отец мой хотя бы начал свой 56-й год!» Значит, Сенусерт I умер как раз в дни своего 55-летнего юбилея. Дзэй провозглашает: осталось всего 10 дней.

Профессор Бэшк никаких интервью не дает.

Завтра Килумэ будет ранен. Ифос напивается сверх меры (шепот «Я слишком много знаю!»). Из харчевни Ифос бежит к фараону. Пользуясь связями, получает аудиенцию. Падает лиц. Вслух ничего не произносит: про все пишет. Написанное рвет. В КОСМЭКах видно: Ифос «расколся» (молниеносный блиц-конкурс РЕКОСМЭКа: «Время и способ расправы над Килумэ»). Сенусерт: «Делай все, как вы договорились. Пусть Килумэ ранят. Ты хочешь, конечно, не ранить, а случайно убить его? Умрешь. Жди моих приказаний. Все — суета. Вот здесь не суета» (похлопывает по сандаловой шкатулке).

Недоумение и растерянность потомков:

— Хочет избавиться от министров руками заговорщика?

— Хочет поймать заговорщика на месте преступления?

Популярен вариант профессора Дзэя: фараон верит в свою божественную сущность — бессмертие, неприкосновенность — и по своей глупости умрет. Против свершившегося ничего не совершить: время Сенусерта I истекает.

Килумэ легко ранен, лежит дома. Фараон присылает больному подарки и пожелания. Ифос ошалел от страха.

Итальянского школьника, открывшего, кто и каким образом шпионит за заговорщиками и докладывает фараону, РЕКОСМЭК удостоивает приза.

Вскоре последовало убийство «царского уха». Это событие при дворе связывают с отсутствием Килумэ. Сенусерт: «Да, да, этот бедный, преданный Килумэ...» Ифос пытается спиться — получает противоположные указания. Подбодрен. Однако вечером в своем притоне повторяет доверенным головоуказам: «Я, ребята, пропал. Слишком много знаю. Слишком мало не знаю».

Сенусерт невозмутим.

Профессор Дзэй торжественно объявляет, что через три

дня начнется 56-й год царствования Сенусерта I. Следовательно, эти три дня фараон не переживет. Семья претендента на египетский престол, сообщившего РЕКОСМЭКу о заговоре, заказывает траурные платья.

Фараон Сенусерт со шкатулкой подолгу пропадает в подвалах. Содержимого шкатулки так никто и не видел.

Через три дня великий визирь убит в собственном доме. Убийцы прошли и вышли безнаказанно и бесследно.

«Государь, только Килумэ может спасти нас...»

Килумэ вызван во дворец. Рука перевязана. Под плащом — кинжал. Профессор Дзэй комментирует возможные детали предстоящего царевубийства, связывая некоторые его особенности с текстом плохо разобранным туринского папируса № 9958/666.

«Сенусерт I будет убит сегодня, так как завтра уже занят Сенусертом II».

В тронном зале — фараон и его личная охрана («славные парни», Килумэ и Ифос). Сенусерт ласково сообщает, что ему все известно, присовокупляет подробности. Заговорщики припадают к его стопам. «Славные парни» стремительно их обыскивают. Отнимают оружие. Сенусерт объявляет указ о назначении Килумэ великим визирем, а Ифоса — «начальником добывания слов» с совмещением должности «царского уха».

Килумэ умоляет повелителя не шутить и назначить казнь поскорее и без пыток, учитывая немалые заслуги его, Килумэ, перед государством.

Фараон объясняет: такие два министра обеспечивают максимум спокойствия: честолубие обоих удовлетворено, «один следит за другим, а я за вами, дети мои... На этом — довольно. Не рассчитываю на милость наследника — посему уверен: никто столь не продлит дней моих, как два преданных министра, кстати, избавившие меня от двух других, которые замыслили в пользу наследника. Мне кажется, я неплохо начал конец своего царствования!..»

Несколько десятков тысяч игроков, ставивших на переворот, разорены. Возмущенные письма в РЕКОСМЭК — в некоторых требование ликвидировать Сенусерта.

Ровно в полночь кухарке профессора Дзэя звонит профессор Бэшк и просит немедленно позвать хозяина. Кухарка появилась именно в тот момент, когда профессор Дзэй, наден на шею петлю, не без успеха пытался повиснуть. На столе записка: «Он или я — один из нас должен умереть сегодня».

Узнав, что его вызывает профессор Бэшк, Дзэй спрыгивает и берет трубку.

— Хэлло, Дзэй, я вам скажу одну вещь, после которой вы не сможете жить от стыда. Вы плохой египтолог, Дзэй.

— Я знаю, Бэшк, да, я знаю это.

— К дьяволу! Ничего вы не знаете. Если б вы знали, вы были б отличным египтологом. Впрочем, если б не вы, я не поставил бы все свое состояние за здоровье Сенусерта I...

— Но откуда же вы знали, Бэшк? Ведь 55 лет...

— Хи-хи! Эти деспоты так коварны, Дзэй. Узнав, что вы приговорили старика к смерти, я из упрямства стал искать доводы contra. И что же вы думаете, проф? Наш старик ведь еще не процарствовал и пятидесяти лет! Если б вы, Дзэй, не околачивались при дворе и не панибратствовали с министрами и прочей челядью, а послушали бы наших коллег-летописцев, вы могли бы стать совсем неплохим египтологом.

— Но как же 50? Ведь обелиски 54-го и 55-го года!!!

— Вот именно, мой старый Дзэй, вот именно! Вы заметили, где стоят эти обелиски? В пустыне, вдали от городов и поселений: старик Сенусерт прославил себя на пять лет вперед: наделал фальшивых обелисков и рассчитал, что через пять лет побьет ливийцев, что будет голод, а он накормит. Он неплохой фантаст, этот Сенусерт Аменемхетович. А через шесть лет пышные похороны. Тут вы правы, Дзэй, ибо, в сущности, вы уж не такой плохой египтолог...

ГИПНОЗ

Вечер. Крым. На берегу — академики Черноусов, Скелед-младший. Грэхот волн, вытесняющий страсти и суету только что закончившегося симпозиума. Скелед вынимает портативный КОСМЭК. Черноусов признается, что не любитель подглядывать, хотя немало насмотрелся в дни «Сенусертова за-

говора». К тому же это он предложил метод «Мольера — Портоса» — вычисление веса предметов по их образу на экране КОСМЭКа.

Скелед предлагает посмотреть на это же место 4 тысячи лет назад. Черноусов: зачем искать — все то же море и горы, никакой цивилизации...

Быстро набирают широту, долготу, высоту. КОСМЭК показывает солнечный день, берег, но очертания другие: мыс, глыбы, скалы узнать трудно, море немного подальше.

Вдруг появляется громадный детина с медвежьей шкурой на плечах и большим мешком. В мешке, брошенном на камни, ясно видны толстые золотые слитки, монеты, браслеты, пластины. Детина быстро ковыряет ножом в глиняном уступе берега. Академики переглядываются, Черноусов протягивает руку к блестящей кнопке радиотелефона — «Археологическая скорая помощь». Внезапно человек выпрямляется, перестает рыть, хватает мешок, устремляет страшный, злобный взгляд прямо в глаза наблюдающим.

Позже каждый академик вспоминает одно и то же: внезапная слабость, руки и ноги стали чужими, состояние полусна, но нет сил закрыть глаза.

Потребовалось отчаянное усилие Скеледа, чтобы выключить КОСМЭК. Несколько минут приходят в себя.

— Вот это гипнотизер!

— Как он сверкал своими глазами! Неужели почувствовал? На 4 тысячи лет вперед?

Ученые хихикают. Спыхватываются. Включают экран. Берег пустынен. Бесшумные волны, набегающие на скалы. Около двух часов, немного меняя координаты, шарят по окрестностям. Пещеры. Полудикие племена у костров. Бронзовый топорик поражает горного козла... Академики подсаживаются к кострам, заглядывают в закоулки пещер — гипнотизер пропал бесследно.

— О! Гипноз, сохранивший силу через 4 тысячи лет — простых и световых!..

— А что, я в детстве смотрел Конрада Вейдта — он с экрана меня так гипнотизировал, что и сейчас вспомнить страшно... — Черноусов уходит, бормоча нечто о слабых излучениях.

В элементарном, доступном журналисту изложении многомесячные размышления, опыты, неудачи, поиски, успехи группы Чериоусова выглядят так: излучения 4000-летней давности сохраняют силу, иначе КОСМЭКи были бы невозможны (свет солнца, свечи, даже гипноз — из 1964-го до нашей эры). Невидимое излучение также улавливается сквозь тысячелетия. Шкатулка Сенусерта всегда закрыта. Но сквозь ее стенки проходят невидимые лучи.

Задача: увидеть, сфотографировать скрытое.

Задача блестяще решена (подробности опускаются).

И что же в шкатулке?

Угадайте.

Да ведь весь мир гадал.

Папирус. Очень просто: папирус, а на папирусе роман. Фантастический роман.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН СЕНУСЕРТА

Небо — это зеркало. В нем отражается все происходящее на Земле. Но пять лет проходит прежде, чем нечто отразится в небесном зеркале. Царевичу во сне явился мудрый бог Тот и подсказал, как взглянуть в величайшее из зеркал. Царевич оставил всем жителям царства лишь город и поле вокруг него. Остальное пространство приказывает выложить стеклом, повторяющим изображение небесного зеркала. Но от небесного зеркала до земного отражение движется еще пять лет. И царевич, глядя в стекло, видел себя, свое царство и подданных с опозданием на десять лет...

Роман был написан как-то странно: почти без глаголов и подробностей. Автор словно спешит, боится обидеть читателя лишним пояснением — «ведь и так все ясно», — легко и странно переходит с авторской речи на прямую, от канцелярской торжественности к вульгаризмам. Слишком многое — в подтексте.

Десятилетний срок отражения в земном зеркале всех людских дел привел к открытиям: царевич узнает об изменах десятилетней давности, видит самого себя в школе. Каждый

наблюдает грехи и добрые дела — свои и чужие. Все объять страхом: через десять лет решительно все откроется. Прекратились злодеяния, исправились нравы — и царство стало счастливо, ибо все совершенное десять лет спустя открывалось. Лишь старики, пояснял Сенусерт, лишь глубокие старцы грешили свободно, ибо десять лет прожить не надеялись, боги же все знали о них и без зеркала.

Роман Сенусерта «Далеким потомкам» торопятся перевести на многие языки, экранизируют, кладут на музыку, используют в кулинарном деле.

Профессор Дзэй. «И как я сразу не догадался: ведь Сенусерт отчего восхвалял себя на пять лет вперед? Фантастикой увлекался. Новые жанры осваивал...»

Склед-старший. «Фараон не ведает о передачах с «икс-планеты» близ Кси Орла. Но кто знает, может быть, фантастическая идея его романа родилась не случайно.

Может быть, его подсознание подсказало ему, что и в 1960-х годах до нашей эры с неба лился поток еще более древней информации: о Земле 60-го века до нашей эры — 5900 годы...»

Склед-младший. «А в самом деле...»

Эксперименты. Эксперименты. Феноменальный улов слабых излучений. Без подробностей...

Громадный университетский КОСМЭК — $1 \times 10 \times 15$ — настроен на координаты, присланные из Академии. На экране — темное звездное небо над Нижним Египтом в апрельскую ночь 1961 года до нашей эры.

В нескольких метрах от КОСМЭКа-1 такой же КОСМЭК-2. К обоим подключены новейшие усилители.

Включение. КОСМЭК-2 светится, дает довольно четкое изображение: тот же Египет, но вместо городов поселки. Пирамид нет. Небольшие примитивные плотины в протоках Нила. Затем рейд по планете: леса, степи, пустыни — почти ничего не изменилось по сравнению с КОСМЭКом-1: охотники, пещеры, мастодонты, живопись на скалах. Но ни одного государства, города. 60-й век до нашей эры...

Щелчок. Теперь КОСМЭК-2 передает, КОСМЭК-1 принимает: с неба 60-го века тоже возвращается прошлое — с запазданием на 40 веков, 50 тысяч месяцев: 100-й век.

Ошалели ученые, журналисты, техники и фантасты. Эффект превосходит ожидания: из прошлого извлечено позапрошрое, из позапрошлого — еще древнее... Плюсквамперфектум!

«В большой матрешке находили куклу помельче, в малой — еще меньше, еще, еще...»

Щелчок на КОСМЭКе-2.

140-й век до нашей эры: 5 минут — пробсжка по планете: леса гуще, людской след незаметнее — пещеры у ледниковых хребтов... Еще щелчок: на КОСМЭК-1 180-й век; еще 5 минут...

220-й век,

260-й,

300-й,

340-й.

Широта Парижа. На экране — восемь стремительно несущихся неандертальцев. Мелькает человек в шкуре, с хохотом размазывающий пятна охры на памирской скале.

380-й век,

420-й,

460-й.

За окном проносятся сутки. «Матрешки» все мельче и глубже, но усилители безотказны — изображения яркие. Щелчок. Быстрый осмотр. Щелчок, щелчок... 288 щелчков за сутки. Наблюдатели сменяются, дремлют тут же, в университетском зале («Эй, парень, ты проспал 443 столетия!..»).

Ровно через сутки: щелчок — 1152 тысячи лет до нашей эры...

В восточноафриканском лесу — весьма человекообразная обезьяна хватает камень и принимается рубить толстую ветку. Саблезубый тигр потянулся, сверкнув саблями. В сухом травянистом Ла-Манше пасутся маленькие дикие лошадки.

Так и одолевали миллион, а то и больше за сутки. На экранах попеременно — с пятиминутным интервалом — появляются растения и твари, разделенные четырьмя тысячами оборотов планеты вокруг Солнца.

Меняются звезды, меняются и исчезают знакомые созвездия. Миллион в сутки, миллион в сутки — очень медленно, за миллион лет почти ничто не менялось: много суток шествуют мамонты, жуткими призраками-гигантами маячат в степях индриктерии, переваливается пещерный медведь.

Только к концу месяца они начинают редеть и исчезать — экран же теперь каждые пять минут наполняется тварями, все более незнакомыми, непонятными. Ломаются хребты, растекаются плоскогорья, снова поднимаются хребты. Где-то на 43-м миллионе лет — безумно несущаяся стая обезумевших мелких злобных тварей. Из-за горы поднимается страшный хвостатый гигант с мордой туповатой и симпатичной. «Один из последних динозавров, — объясняет биолог. — Пугает праобезьянок — или прапрачеловечков». Ящеры появились как-то внезапно — оба КОСМЭКа одновременно врезались в гущу ползающих, плавающих и взлетающих ящеров. Ориентироваться стало труднее. На старых, знакомых сухопутных градусах широты и долготы плещутся океаны. Над Полтавой, Дели, Чикаго рвутся ихтиозавры.

И все эти тысячи веков ОНИ с «икс-планеты» все принимали и возвращали информацию на Землю, не показываясь?

Мнение научно-фантастического отделения Академии наук: ОНИ ждут своего часа. Динозавры и люди для НИХ — дурное общество...

ЭПИЛОГ НА НЕБЕСАХ

Кончился третий месяц. Утром на 83-и сутки КОСМЭК-1 вспыхнул снова среди динозавров на исходе 949 440-го века до нашей эры, или около 100 миллионов лет назад.

Еще щелчок, и КОСМЭК-2 не показал 949 444-го столетия.

Экран черный и пустой.

Первый голос. Вот когда все началось!

Второй. Неизвестно, неизвестно. Может быть, Кси Орла просто находилась тогда в точке вселенной, неблагоприятной для наблюдений?..

Щелкали, вертели, совершенствовались... Новых изображений не было. Было грустно и обидно: все привыкли к ежедневной дозе новенького прошлого.

Для усилителя, проникающего в мезозойскую эпоху, заглянуть на дальнюю звезду или планету — пустяк.

Солнце, Марс, Сириус — отныне не дальше стола, зеркала, аквариума.

Телескоп с усилителем направлен на Кси Орла, небольшую желтую звезду. «Икс-планета» в самом деле существует: третья от светила. Еще минута — и увидим ИХ, возвращающих прошедшее, молчаливых невидимок. Телепередача ведется по всей земле. (Снова — телевизор, а не КОСМЭК.)

Идеально-круглый черный шар — побольше астероида, много меньше Земли. Расстояние — 2 тысячи световых лет.

Черный шар, каким он был в начале нашей эры: невидимо висевший над Римской империей, парфянами, китайской империей Хань...

Круглый черный шар — и ни малейшего следа зданий, людей, цивилизации. Лишь короткие темные выступы по экватору и меридиану.

Идеальный шар и правильной формы выступы.

Искусственная планета.

Разумеется, сейчас шар будет просвечен (в шкатулку Сепусерта заглядывали не зря. Кстати, старик, пока суть да дело, все правит и правит Верхним и Нижним Египтом).

Земля заглядывает внутрь шара. Черный идеальный шар. Хорды, секторы, сегменты, радиусы из миллиардов тонких нитей или проволоки — может быть, пленки? Бесконечные километры нитей, недвижных и спокойных.

Слабые лучи далеких светил и планет попадают сюда и остаются навеки. Все, что было, — все здесь: звезды, бактерии, атомы, люди.

Кто создал эту планетку-архив, кто запустил?

Когда? 100 миллионов лет назад или еще прежде?

Где мастера? Вымерли? Вернутся и увезут архив?

Следят и работают сейчас, невидимые?

Нет ответа.

Черная круглая планета — архив Земли. Может быть, архив галактики, вселенной?

Все ловит. А зачем возвращает?..

Чтоб вернуть пра-пра?..

Впрочем, приобретая документ, приличный архив всегда вышлет копию старому владельцу.

Штурмовая неделя

И когда Бог задумал сотворить нашу Землю и Вселенную в придачу к ней, он сразу же столкнулся со множеством затруднений. И хотя за долгий-долгий срок это мероприятие было продумано им во всех аспектах, он неоднократно переносил конкретный срок закладки первого камня. Задача была столь уникальной и величественной, что даже он боялся что-либо упустить или перепутать. Бог был всемогущ, конечно, но он же был и един. Другими словами, у него не было помощников.

Представив себе, каким великолепным зрелищем будут извержения вулканов, Бог вдруг вспоминал, что совершенно не продумал вопроса о химическом составе, температуре, количестве и ассортименте лавы. Потом открывалось, что он и понятия не имеет о том, сколько прожилков должно быть на крыльях у стрекозы, что он так и не пришел к заключению, должны или не должны пересекаться параллельные в бесконечности и как, в сущности, будет выглядеть цвет, который впоследствии назовут «ультрафиолетовым».

От неисчислимости подобных мелочей Бог не раз в отчаянье опускал руки. Не раз приходила ему в голову соблазнительная мысль: а не бросить ли всю эту затею, пока не поздно? Обходился же он прежде без всяких земель, и все было хорошо, спокойно, тихо. И главное — если ничего не будет, никого не будет, никто никогда ни в чем не сможет его упрекнуть. А так — о боже! — сколько проклятий посыпется на его седую голову за все неизбежные при таких масштабах недоделки и промахи.

Так размышлял он и колебался довольно долго. (Впрочем, понятие «долго» имеет здесь весьма условный характер. Не было ни Земли, ни Солнца, ни теории относительности, а следовательно — ни дня, ни ночи, ни месяцев. Время было безмерным.)

Короче, Бог пришел к решению создать себе помощников — без них он не чувствовал себя в состоянии довести свои идеи, наброски, проекты, эскизы до стадии внедрения.

Однако вслед за тем Бог снова погрузился в раздумья: ведь материи еще не существовало, помощники прежде всего и должны были придумать эту материю. Из чего же их самих изготовить? Бог долго скреб рукой затылок, пока не нашел выход: «Ну что ж, пусть они будут нематериальны, пусть не едят, не пьют, не производят себе подобных, а только работают в поте лица — фигуральном, конечно, — во имя мое и на благо мое. Да будет так!»

Бог взмахнул рукой. Появились ангелы. Собственно говоря, именно это и следует считать первым актом творения.

Свежеиспеченные ангелочки ровненькими рядками выстроились перед начальником, ожидая руководящих указаний. Это были не боги, они не могли чертить и дифференцировать мысленно. Поэтому Богу пришлось сотворить для них нематериальные ватман, рейсфедеры, тушь, рейспины, логарифмические линейки и многое другое. Бог был особенно горд собой, изобретя такое хитрое приспособление, как кульман. Он предчувствовал, что сотворение солнца потребует от него гораздо меньших усилий. Правда, с нематериальными противовесами ангелам-конструкторам пришлось изрядно помучиться.

Бог разделил своих работяг на группы, засадил за дело и больше уже не знал ни минуты покоя. Это были ужас до чего несамостоятельные существа. У них ничего не было: ни клея, ни кнопок, ни корзиночек для бумаг. По каждому вопросу бегут прямо к нему. Все создай да создай, Господи. Когда один из ангелов потребовал от Бога, чтобы тот сотворил табак, так как с сигаретой легче думается, Бог вышел из себя и с удовольствием хватил бы кулаком по столу. К сожалению, стола еще не было.

Бог решил твердо: как только появятся хоть какие-нибудь стройматериалы, немедленно создать себе кабинет, завести

ангела-секретаря с неангельским характером, и без доклада — ни-ни...

Однако рабочие чертежи все не появлялись. Ангелы жаловались, что им при черчении очень мешают крылья. Но хуже было другое: руководители специальных конструкторских бюро за отсутствием опыта в сотворении миров не смогли избежать параллелизма в работе. У авторов проектов возникали споры и ссоры, которые нередко кончались рукоприкладством. Перья пострадавших при этом крыльев валялись повсюду, и ветер не уносил их вдаль, так как и ветра еще не было. Бог хватался за голову, слыша, как называют ангелы друг друга, и никак не мог понять, откуда они всего этого набрались. Наконец Бог понял, что их деятельности не будет конца, и решил приступать к сотворению мира, не дожидаясь окончания этапа проектирования, а недоделки устранять на ходу.

И вот он настал — Первый День Творенья.

По этому случаю — не каждый день миры создаются — Бог облачился в приличествующее торжественности момента парадное одеяние. Но парада не получилось. Вызванные из СКБ-1 ангелы-конструкторы явились не стройными колоннами, а мелкими переругивающимися на ходу группками.

И сказал Бог:

— Слушаю вас.

И заговорили все одновременно.

— Это плагиатор! Это плагиатор! Господи, он украл у меня идею пи-мезонов... — жаловался один.

— Разойдись, — предупреждал другой. — У меня радиоактивные элементы. На бумаге, конечно, но все равно разойдись.

— Ваши слова, ангел мой, — бубнил третий, — это материализм чистойшей... этой... как, бишь, она будет называться?... Да... воды. Вы подрываете основы божеской власти...

— А я придумал бензольное колечко! А я придумал бензольное колечко! — приплясывал четвертый, маленький и веселый.

И слушал Бог этот безответственный гомон. И поднялся, величественный и грозный.

— Тиха-а! — крикнул он. — Прекратить этот бедлам!

Все замолчали. Только маленький веселый ангел высунул голову из-за плеча другого ангела и спросил:

— Что такое бедлам, Господи?

Бог сверкнул очами, но тут же подумал, что сердиться на ангелочка не следует — откуда ему действительно знать, что это такое?

Утихомирив конструкторов, Бог стал выслушивать доклады руководителей групп. На первых порах его привлек своей простотой проект, по которому предлагалось создать всю Вселенную из атомов одного вида. Атомы должны были представлять собой маленькие, твердые, неделимые шарики. Все многообразие веществ предполагалось обусловить разным количеством шариков в молекулах.

Бог уже собирался утвердить этот проект, как вдруг, на горе свое, проявил излишний демократизм и спросил, нет ли других мнений. Как и следовало ожидать, проект был торжественно похоронен по первому разряду. Сколько ядовитых слов было сказано о бедности фантазии у незадачливого проектанта, осмелившегося принести эту примитивную халтурку на суд божий — ведь в таком строении материи легко разберутся не только разумные существа, но и любая обезьяна... Нет уж, Господи, материю надо соорудить такую, чтобы до окончания веков никто ничего в ней не мог понять!

— Ладно, — сказал Бог, выслушав всех, — убедили, ангелы. Давайте самый сложный проект. Есть такой?

Наступило неловкое молчание. Потом из рядов вышел старший ангел-физик-теоретик и тихо сказал:

— Такой проект, великий Боже, есть, но он еще не совсем доработан.

— Как это не доработан? Терпение надо иметь с вами, ангелы...

— Не согласовали, — еще тише сказал ангел.

— Боже мой, — сказал Бог, — уже прошло полдня, а не создано ни единого атома. Кошмар! Ну что стоишь, докладывай!

Ангел поклонился, взял указку и начал:

— За основу нашего проекта строения материи мы взяли сингулярности нелокальных полей... Квазидискретная структура материи, очевидно, будет определяться инвариантностью относительно некоторых групп преобразований четырехмерно-пространственно-временного континуума. Элементарные

частицы по их групповым свойствам можно будет разделить на два существенно отличных класса, откуда имеем...

— Стоп! — сказал Бог, послушав еще немного и окончательно потеряв ход мысли. — Благодарю вас. Достаточно. Уж если я ничего не могу понять, то люди и подавно не разберутся. Проект утверждаю.

— Но, Господи, в нем есть явные противоречия, — попробовал робко возразить кто-то.

— Тем лучше. Сколько всего этих атомов нужно создать на всю мою Вселенную?

— М-м... Мы предполагали так... что-нибудь около десяти в семьдесят третьей степени, великий Боже...

— Что значит «около»? Мне нужны точные цифры!

Припертый к несуществующей стенке, ангел в отчаянье указал первое, что пришло ему на ум:

— 2468931462758942615879314257485693564829314675829192847615312984716539132947 штук...

— А не маловато? — усомнился Бог. — Ну да ладно, хватит авось. — И торжественно произнес: — Да будет так!

И во тьме возникли не освещенные ничем куски материи. Где-то плескалась невидимая в темноте вода. Бог немного полетал над водой, убедился в ее наличии и вернулся на место.

Вторым пунктом повестки дня (первого) значилось сотворение суши, неба и светил. Но проекты оказались еще менее подготовленными, чем предыдущий.

И разгневался Бог.

— Вы срываете мне графики! — кричал он на покорно склонившего голову завспиргала (заведующего отделом спиральных галактик и газовых туманностей). — Что же, по-вашему, я должен сотворять свет раньше, чем сотворю Солнце? Да это же курам на смех! Каким курам? Занимайтесь своими делами, милейший! И чтобы завтра... Что такое завтра? О, Господи!

— Понятно, — вздохнул ангел-заведующий. — Разрешите выполнять?

— Идите!

Следующей была теория света. Перед тем как подойти пред грозные очи Генерального Конструктора, руководитель подгруппы шепотом осведомился у завспиргала:

— Сам-то как сегодня?

— Беда. Лютует. Я вам, говорит, покажу, говорит, как надо работать!

Но на этот раз обсуждение прошло сравнительно спокойно. Было выдвинуто всего два проекта. Одна бригада теоретиков предлагала создать свет как поток маленьких частиц. Вторая — разработала волновую теорию. И те и другие сходились на том, что скорость распространения света должна быть наивысшей в природе.

Бог долго слушал доводы обеих сторон, но так и не мог прийти к заключению, чей же проект лучше. День клонился к исходу, голова у Господа разламывалась от бесчисленных интегралов, диаграмм, формул и прочих премудростей, которые совали ему под нос вошедшие во вкус ангелы-физики-теоретики. И Бог принял решение, которое тут же про себя назвал сомоновым.

— Бог что, крылатые, — сказал он, — есть компромиссное предложение. Пусть будет свет и тем и другим одновременно.

— То есть как? — недоуменно спросили ангелы. — Это же исключают друг друга теории. ИЛИ то, ИЛИ другое. Одновременно невозможно.

— Невозможно? Это вы кому говорите? Мне? Ничего невозможного для меня нет!

— Есть, — раздался голос из задних рядов.

Богу стало смешно.

— Это что еще за атеист отыскался? А ну, покажись!

Вышел ангел с сильно потрепанными в многочисленных драках крыльями.

— Так это ты утверждаешь, что я не все могу?

— А скорость света будет наивысшей в природе? — в свою очередь, спросил ангел.

— Безусловно!

— Значит, вы не сможете двигаться быстрее света. Вот.

— Почему? — удивился Бог.

— А потому, что тогда скорость света не будет наивысшей.

— Ну, в таком случае пусть скорость света не будет наивысшей.

— Значит, великий Боже, вы не сможете создать такой свет, чтобы его скорость была наивысшей? — ухмыльнулся дерзкий ангел и скрылся в толпе.

Бог призадумался. Значит, рассуждал он, если я не обгоню света, то я не всемогущ, а если обгоню, то, обратно, не

всемогущ, потому как не могу создать такую скорость, которую бы сам не обогнал. Чертовщина какая-то! Как же из этого выпутаться?

Он думал долго. Проклятая логика оказывалась сильнее его божеской воли. Пришлось обойтись без логики. Отступить было поздно — Вселенная нуждалась в свете. Тяжело вздохнув, Бог поднялся над бездной и широко распротер руки.

— Да будет свет! — громко воскликнул он.

И все вокруг осветилось. Даже сам Творец зажмурился с непривычки. Потом вытер пот со лба и тяжело опустился на пока еще бесформенный кусок материи, носившейся в пространстве.

Во Второй День Творенья, Третий День Творенья и Четвертый День Творенья тоже все шло вкривь и вкось. Проекты приходилось утверждать не в соответствии с графиком, а по мере их поступления. Плоды создавались раньше деревьев, планеты — раньше звезд, атмосферы — раньше планет. Потом приходилось долго разбираться, что к чему. Но как бы там ни было, а к концу четвертого дня Бог, потирая ладони, с удовольствием взирал на расстилавшийся перед ним зеленый земной пейзаж, на гряды гор, где уже начали собираться ледники, на красный закат нопенького, еще совершенно не запятнанного Солнца.

— А все-таки хорошо, — говорил он, любуясь делом рук своих. — Все-таки она вертится! Ладно, завтра займемся зоологией, это куда приятнее термоядерных реакций и межзвездного водорода... О Господи, трудное дело ты возложил на себя, — обратился к себе Бог во втором лице.

В это время, огненной полосой прочертив небосклон, у ног его с шипением упал метеорит. От неожиданности Бог вздрогнул. Потом осторожно поднял раскаленный камень и, дуя на пальцы, огорченно покачал головой.

— Бездельники... Не смогли чистенько сработать... Тунел-ядцы!..

И, ворча, удалился на покой.

Утром Пятого Дня в приемной Создателя столпились ангелы-художники-анималисты. У дверей кабинета, где висела табличка «Без доклада не входить», сидел (или сиде-

ла — род в этом случае никакого значения не имеет) ангел-секретарша и решительно отваживал (отваживала) всех просителей и любопытствующих. Приемная была невелика, а художников набралось порядком, но они были существами нематериальными, а поэтому на одном квадратном метре их могло уместиться бесконечно большое количество: ангелы входили друг в друга.

Бог встал в этот день с правой ноги и был в благодушном настроении. Он с удовольствием разглядывал картинки, которые демонстрировали художники, и без лишних слов ставил кресты в знак утверждения. Ознакомившись с выходными данными мамонта, кита-полосатика и жирафа, Бог непонятно усмехнулся и произнес:

— Бедный Ной! Бедный Ной!

Но рабочие чертежи утвердил.

Когда покончили с млекопитающими и пара волосатых горилл, расшвыривая все на своем пути, помчалась в лес, Бог почувствовал легкое утомление. Он даже не успел сказать гориллам обычного напутствия: «Плодитесь, размножайтесь», — и у него до конца дня на душе было беспокойно — было смутное ощущение чего-то недоделанного.

Перешли к рептилиям. На столе появились проекты бронтозавра, ихтиозавра, диплодока и других ящеров. Понимая, что этих чудищ не выдержит никакой ковчег, Бог приготовился было вычеркнуть их из списков. Но тут ему пришла в голову гениальная идея.

— Эти, — сказал Бог, — будут жить только до потопа. И вымрут. Плодитесь, размножайтесь! Аминь!

Солнце уже перевалило через зенит, а впереди еще было необозримое море работы. Бог мельком взглянул на медуз, голотурий, раков, устриц, червей и прочую мелюзгу. Насекомых он вообще не стал смотреть, а просто приказал ангелу — ученому секретарю отдела:

— Читайте список!

Зарозовел первозданными красками закат, а ангел — ученый секретарь все еще заунывно тянул:

— 14275 — муха павозная, 14276 — муха цеце, 14277 — муха дрозofiла, 14278 — муха...

«Словно пономарь», — подумал Господь. Его неудержимо клонило в сон. Он уже несколько раз встряхивал головой, сгоняя сон. А голос все тянул и тянул:

— 15923... 15924... Пятнадцать тысяч де...

— Стой, — не выдержал, наконец, Создатель, — сколько их там у тебя?

Ангел глянул на последний лист списка:

— 2 443 877, Господи...

— Господи, Господи, — передразнил его Бог. — Давай сюда список. Все давайте, все.

В полном изнеможении он поставил один общий крест и слабой рукой благословил списки.

Некоторое время присутствующие молча смотрели, как из окон, из дверей, из щелей кабинета по всем направлениям расплзалась, разбегалась и разлеталась всяческая мерзость, а потом удалились. Остался только заведующий отделом микробов и бактерий.

— Прости меня, Господи, — сказал он. — Я тоже не успел посмотреть, что там насочиняли мои гренадеры.

— Ах, мне все равно, — сказал Бог и откинулся в кресле. — Иди себе с богом, старина, и помни, что в больших делах без проколов не обойтись. Я это уже понял и смирился. Благословляю тя...

Шестой День обещал быть нетрудным. Предстояло утвердить всего два проекта — мужчину и женщину.

Утверждение мужчины не вызвало особых пререканий, установка была дана твердая — по образу и подобию Нашему. Правда, Богу пришлось зайти в ателье, где с него сняли мерку, затем в лабораторию, где у него брали всевозможные анализы; несколько часов он должен был посидеть неподвижно — позировал художникам. Но труды эти не пошли прахом — готовый мужчина стоял посреди божеского кабинета, с детским любопытством разглядывал себя, окружающих и обстановку. Бог захлопнул дверь перед сунувшейся было ангел-секретаршей и произнес напутственную речь:

— Ты, человек, сотворен по образу и подобию Нашему, и да будешь ты владычествовать над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями лесными, и над скотом домашним, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И нарекаю я тебя Адамом, сын мой. И иди себе. И жди подругу. И благослови тебя Господь, то есть я. Аминь.

Адам поблагодарил Создателя и удалился под сень ветвей.

Руководитель п/я 13 появился перед Богом в несколько смущенном состоянии. Он заикался и никак не мог вразумительно объяснить, что произошло. Господу пришлось долго выбивать из него полезную информацию. Оказалось, что ангелы-физиологи и ангелы-антропологи его группы неожиданно отказались работать, разорвали в мелкие клочки уже готовый проект и сейчас митингуют.

— Чего они хотят? — спросил Бог.

— Они г... г... говорят, простите меня, Г... Г... Господи, что вы поступили с ними несправедливо, создав их бест... т... т... телесными созданиями... Они кричат: «Ангелы — не люди» — и отказываются работать...

— В последний день подсовываете мне такую свинью! — загремел глас Божий. — Опять график полетел! Ну и бог с ним! Все равно завтра будем отдыхать от трудов праведных.

— А как же, Господи, с женщиной?

— Ничего, несколько дней поживет Адам в одиночестве... Не помрет... А женщину я после сам сотворю. Из Адамова ребра. Должен же я что-нибудь сотворить непосредственно, без посторонней помощи! Будьте уверены, справлюсь. К тому же у меня есть уже кое-какие пробы, — сказал Бог и резко распахнул дверь. За ней стояла, нагнувшись к замочной скважине, ангел-секретарша.

Бог, уперев руки в бедра, молча и гневно уставился на нее. Но секретарша не смутилась. Она гордо выпрямилась и повела крылышками.

— В интересах истории, — небрежно заявила она, — я собираюсь написать воспоминания. Естественно, меня интересуют некоторые подробности.

Бог хотел что-то сказать, но потом махнул рукой и пошел спать.

Он спал весь седьмой день. Неделя действительно была довольно утомительной.

Был ли Свифт научным фантастом?

Жить рядом с музыкантом беспокойно. Иное дело математик — тот погружен в свои вычисления и никого не тревожит. Однако соседи английского математика и философа Чарлза Бэббиджа (1792—1871) не были им довольны. А ведь он не принадлежал к числу любителей музыки. Напротив, ненавидел ее. Стоило появиться под его окнами скрипачу или шарманщику, как Бэббидж выбегал на улицу и гнал его вазшей. Бэббидж мечтал отвадить всех уличных музыкантов. Но добился обратного. Скоро его имя и адрес стали известны всей этой нищей братии, и назло ему они зачастили к его дому. А однажды собрались все вместе и устроили ему продолжительный бесплатный концерт. На сей раз Бэббидж не показался. Он отсиживался во внутренних комнатах, чтоб не столкнуться с толпой, запрудившей всю улицу...

О людях отвлеченного знания любят рассказывать анекдоты. О Бэббидже их рассказывали особенно много. Для этого были веские основания. Шутка ли сказать, Бэббидж вознамерился построить нечто подобное логической машине, высмеянной Свифтом в «Путешествиях Гулливера». Правда, машина Бэббиджа должна была оперировать цифрами, а не словами, но велика ли разница? О лапутянах у Свифта читали все, а в дебри математики углубляются немногие...

Насмешники, казалось, вышли победителями из этого спора. Бэббидж не сумел осуществить своих планов. Тем более что они все разрастались. В 1822 году он решил построить машину для вычисления таблиц и даже сумел получить от правительства субсидию в 80 тысяч фунтов — сумму по тем

временам огромную. Но десять лет спустя Бэббидж потерял интерес к своему проекту. У него появился новый — создать машину, годную для любых вычислений. Эту машину Бэббидж безуспешно строил до конца своей жизни. Ему необходимы были десятки тысяч совершенно идентичных, выполненных с исключительно высоким классом точности механических деталей, а получить их было неоткуда. Тогда Бэббидж занялся еще одним делом — выяснением необходимых условий для организации подобного производства... и неожиданно оказался одним из основателей современной прецизионной техники.

Сейчас мы можем во всей полноте оценить гениальность Бэббиджа. Достаточно сказать, что в его машине были две основные системы современных счетно-решающих устройств — анализатор («завод», как он его назвал) и память («склад»). На свою машину он истратил и правительственную субсидию и все свое немалое состояние. Но умер он осмеянный и разорившийся.

Век с лишним спустя после выхода «Путешествий Гулливера» жизнь продолжала подтверждать правоту Свифта, издевавшегося над создателями логических устройств.

Еще больше, чем Бэббиджа, высмеивали английского философа Джевонса (1835—1882), построившего «логическое пианино». Людей, ставивших перед собой подобные задачи, неизменно сравнивали с лапутянами.

Кроме тех, разумеется, кто работал до Свифта.

Первый арифмометр, производивший сложение и вычитание, построил, как известно, в 1642 году Блез Паскаль (1623—1662). Ему в это время шел двадцатый год, и он увлекался логикой. Занятиям этой наукой он и хотел посвятить свое каникулярное время. Но отец, сборщик податей, поручил ему вместо этого сделать за себя множество расчетов. Тогда логика пришла на выручку Паскалю — она помогла ему создать арифмометр. Недаром логика и математика родились сестрами. С тех пор у каждой из них появилась многочисленная родня, требующая к себе внимания, но всякий раз, когда они вспоминают, кем друг другу приходится, это припосит немало пользы.

Второй арифмометр построен математиком, но задуман тоже философом. В двадцатипятилетнем возрасте Лейбница увлекла идея испанского схоласта и алхимика Раймонда

Луллия * (1234—1315). Тот мечтал создать метод, который сводил бы все богатство понятий к основным категориям, составляющим «азбуку человеческой мысли», а потом «вложить» его в машину, способную отобрать «все истинные высказывания». Машина была построена, но, как легко понять, она не выдавала «все истинные высказывания», а лишь считала известное число внесенных в нее философских понятий. Лейбниц тоже создал не задуманную им логическую машину, а арифмометр, только более совершенный, чем у Паскаля.

Широкие философские замыслы приводили к созданию сравнительно элементарных счетных устройств. Логическая машина в нашем понимании слова не могла появиться в то время. Ведь даже великий Лейбниц, не говоря уже о Луллии, не пришел еще к современной символической логике. Да и технически такая машина была неосуществима еще в XIX веке.

Свифт исходил в своей сатире скорее всего из работ наиболее близкого к нему по времени Лейбница.

На современной Свифту иллюстрации к «Путешествиям Гулливера», сделанной по его указаниям (она повторена французским художником XIX века Граивилем, с рисунками которого обычно публикуется у нас книга Свифта), изображена одна из систем этой машины. Это две параллельные оси, на одной из которых неподвижно укреплен ряд зубчатых колес с разным количеством зубьев, а на другой — свободно вращающиеся кубики. При вращении первой оси кубики совершают разное число оборотов и с их граней считываются потом значения — в данном случае слова в самых неожиданных сочетаниях. Число комбинаций в этом случае будет равно 4^n , где «n» — количество кубиков. Иными словами, два кубика дадут 16 комбинаций, четыре — уже 256 и т. д. Числа немалые. К тому же в каждой машине заключено множество подобных систем. И все же ученый, демонстрирующий Гулливеру эту машину, сетует, что она дает недостаточное количество сочетаний, и мечтает о пятистах таких же машинах, работающих одновременно.

* И не его одного: в начале 80-х годов XVI века Джордано Бруно обучал французского короля Генриха III «искусству Луллия», и король остался весьма доволен его уроками.

Нетрудно понять, что лапутянское изобретение — это попросту арифмометр, возвращенный к самым своим примитивным формам и показывающий не цифровые значения, а словесные. Конечный — как говорилось, достаточно ограниченный — результат многолетних размышлений и выкладок Лейбница нарочито соединен с его первоначальным замыслом. Этим и достигается комический эффект. Изображенная Свифтом «логическая машина» производит не «книги по философии, поэзии, политике, праву, математике и богословию», на что надеялся ее создатель из Великой академии в Ладого, а совершеннейшую бессмыслицу.

Все это очень остроумно. Но если сто лет назад, когда, подобно Свифту, никто не верил в логические машины, автора этой пародии не думали зачислять в научные фантасты, вправде ли мы это делать сейчас, после того, как эти машины появились на деле и неправота Свифта для всех очевидна?

Вправе.

Во времена Свифта, да и долго еще после него, казалось, что Свифт за редкими исключениями осмелял теории, предположения и проекты механизмов, никакого отношения к истинной науке не имеющие.

Для нас сейчас ясно другое — Свифт подозрительно часто обращал внимание на то, что впоследствии подтверждалось наукой.

Обитатели летающего острова среди прочего «открыли две маленькие звезды, или спутника, обращающихся около Марса, из которых ближайший к Марсу удален от центра этой планеты на расстояние, равное трем ее диаметрам, а более отдаленный находится от нее на расстоянии пяти таких же диаметров. Первый совершает свое обращение в течение десяти часов, а второй в течение двадцати с половиной часов, так что квадраты времен их обращения почти пропорциональны кубам их расстояний от центра Марса, каковое обстоятельство с очевидностью показывает, что означенные спутники управляются тем же законом тяготения, которому подчинены другие небесные тела».

В течение ста пятидесяти одного года всем было ясно, что это — очередная насмешка Свифта над глупым увлечением астрономией у лапутян. Но с 1877 года все это стало совсем

не так ясно, как прежде. Дело в том, что в этом году американский астроном А. Холл открыл два спутника Марса — Фобос и Деймос, время оборота которых должно было совпасть с предсказанным Свифтом, если бы подсчеты были произведены на уровне знаний его времени...

Чем это, собственно говоря, объяснить? Фламмарион объяснял такое удивительное предвидение Свифта единственно его «вторым зрением». Возможны, думается, и какие-то другие объяснения. Но подождем с ними.

Мы посетили летающий остров и побывали в одной комнате Великой академии в Ладого. А она ведь занимает несколько зданий. Пройдем по другим ее помещениям.

Вот перед нами «весьма изобретательный архитектор, разрабатывавший способ постройки домов, начиная с крыши и кончая фундаментом. Он оправдывал... этот способ ссылкой на приемы двух мудрых насекомых — пчелы и паука». Это опять смешно. Но, как на беду, среди многих методов строительства есть сейчас и такой, который можно охарактеризовать как «постройку дома, начиная с крыши». Что же касается подражания насекомым, то над этим давно уже не смеются — с тех самых пор, как был построен первый висячий мост, прототипом для которого послужила паутина, сотканная каким-то мудрым пауком.

В другой комнате находился «слепорожденный, под руководством которого занималось несколько таких же слепых учеников. Их занятия состояли в смешивании красок для живописцев, каковые профессор учил распознавать при помощи обоняния и осязания». Более чем двести лет спустя, в 1928 году, Карел Чапек написал рассказ «Ясновидец», в котором говорилось даже о чем-то большем — о способности читать при помощи пальцев сквозь лист бумаги. Но Чапек в отличие от Свифта не пожелал это высмеять. Дело в том, что вопрос о так называемом кожно-оптическом чувстве находился уже в это время в ведении ученых, а не пародистов. Опыты с Розой Кулешовой и ряд других исследований лишний раз подтвердили существование этого чувства.

С точки зрения Свифта все это, да и многое другое, — абсолютная чепуха. Только для этого он и поместил в свою книгу подобные примеры. Но, описывая, вернее, разоблачая эту «чепуху», Свифт совершенно неожиданно проявляет качества, присущие только научным фантастам.

Осмеяние у Свифта особое. Он не ложный доносчик, измышляющий клевету, дабы опорочить неугодных. Напротив, Свифт с прилежанием добросовестного прокурора выискивает действительные слабости и прегрешения обвиняемых.

«Он сообщил мне, — рассказывает Гулливер об изобретателе логической машины, — что теперь в его станок входит целый словарь и что им точнейшим образом высчитано соотношение числа частиц, имен, глаголов и других частей речи, употребляемых в наших книгах». Свифт поставил перед создателем логической машины эту задачу потому, что считал ее неразрешимой. Но поставил-то он задачу действительную и притом сформулированную удивительно точно.

Не менее интересно другое возражение Свифта против логической машины.

Римляне для обучения детей грамоте изготовляли медные кубики, напоминающие современные типографские литеры. На каждой грани была вырезана какая-нибудь буква. И вот, глядя на эти кубики, Цицерон однажды задался таким вопросом: если какое-то время бросать их в беспорядке, упадут ли они когда-нибудь так, чтобы образовать, скажем, строчку определенного стихотворения?

Современная статистика тоже заинтересовалась этим вопросом и ответила на него положительно. Конечно, упадут. Но для этого надо кидать их значительно дольше, чем существует Земля.

Свифт был замечательным знатоком античности, и, очевидно, эта мысль Цицерона по-своему преломилась у него в рассуждениях о логической машине. Он обратился к математической стороне вопроса и заставил лапутянского ученого возмечтать о пятистах подобных машинах, хотя и после этого не поверил в его успех. И был прав. Для того чтобы в процессе ненаправленных поисков «перекодировать шум в смысл», выражаясь языком современных кибернетистов, совершенно недостаточно даже десятков миллионов комбинаций.

Впрочем, у Свифта не обязательно каждое слово — обвинение. Иногда он пускается в подробности просто потому, что его увлекла тема. Уже логическая машина описана им с подозрительным количеством деталей. Что же касается летающего острова, то здесь Свифт совершенно неожиданно с таким рвением предается техническим описаниям, что только

Жюль Верн (речь, разумеется, идет лишь о тех сторонах маперы Жюль Верна, которые высмеивал Чехов в своей пародии «Летающие острова», когда упоминал о «пропущенных скучнейших описаниях») да кое-кто из новейших любителей «конкретной фантастики» может с ним поспорить. У Свифта прямо-таки страсть — найдя какую-нибудь новую идею, извлечь из нее как можно больше конкретных подробностей. Но тогда это не стало еще дурной традицией, и Свифт несколько себя в этом отношении не ограничивает.

Конечно, правдоподобие Свифта далеко не всегда совпадает с научной правдой. Но не совпадает оно и у современных фантастов. К тому же Свифт достигает правдоподобия теми же точно средствами — при помощи не вызывающих сомнения подробностей, изложенных в соответствии со строгой логикой и уровнем научного мышления современников.

Для современников «Путешествия Гулливера» звучали в чем-то правдоподобнее, чем для нас. Дизраэли в своей книге «Литературные курьезы» рассказывает, что во времена Свифта находилось немало читателей, которые принимали на веру даже его географическую фантастику. Это и понятно — ведь они были воспитаны на таком чтении, как знаменитые «Путешествия сэра Мандевиля», полные невообразимых несуразностей и выдумок. Совершенно гипнотически действовало на них и точное указание географических координат — а Свифт на такие указания никогда не скупится.

Цифры вообще завораживали людей того времени. Свифт писал в совершенном соответствии с характером мышления современников. Он может фантазировать как угодно, но никогда не ошибется в расчетах и вычислениях. Гулливер у него ровно в двенадцать раз больше лилипутов, а великаны во столько же больше Гулливера. Можно не сомневаться, что будь в то время принята десятичная система, все пропорции изменились бы, как один к десяти. Гулливеру по его росту нужно было столько-то лилипутских матрасов, а он получил всего третью часть, и ему было жестко... И так далес, и тому подобное...

По видимости у Свифта все признаки научной фантастики. Но различие все-таки есть. Свифт абсолютно не верит в осуществимость описанного им. Все это для него те же сказки.

В последние годы, когда на Западе появилось столько образцов мрачной социальной фантастики, возник термин

«антиутопия». «Путешествия Гулливера», особенно одну их часть — ту, где повествуется о выродившихся звероподобных людях Йеху, — называют первым образцом этого жанра. Так, может быть, «Путешествия Гулливера» еще и «антифантастика»?

Допустим. Но в таком случае придется задуматься вот о чем. Назвать «Путешествия Гулливера» «антиутопией» в историческом смысле вполне логично. Ведь утопия была во времена Свифта вполне развитым, полнокровным жанром. Но назвать их «антифантастикой» можно лишь с определенной оговоркой. Научной фантастики как литературного жанра или рода до Свифта не было. Значит, если говорить об «антифантастике», то следует, очевидно, подразумевать не научную фантастику, а какую-то другую — допустим, фантастику сказки.

«Антисказка»? Удивительное слово, а ведь, по сути дела, это именно так. И не начинается ли таким радикальным путем научная фантастика как-то ограничивать себя от сказки? От сказки традиционной, не притязающей на то, что в нее поверят как в быль, а заодно — для Свифта — и от «сказок», на это притязающих, выдающих себя за науку.

Но в таком случае не мешает вспомнить и еще об одном обстоятельстве.

Свифту удивительно не везло. Слишком много предположений писателя оправдалось вопреки его злопыхательству. Столько научных фантастов стремилось предсказать будущие открытия и, как правило, ошибалось. А Свифт упорно стремился изобразить невозможное — и обычно останавливал внимание на важном, перспективном, осуществимом.

Почему же ему столько удалось предсказать — пусть даже певольно?

«Гипотезы, обнимающие большое число разрозненных фактов и воззрений, полезны даже в незавершенном виде, и нередко случается, что самая плодотворная гипотеза представляется при своем возникновении туманною и шаткой», — писал замечательный русский физик прошлого века Александр Григорьевич Столетов.

В самой науке на каждом этапе ее развития немало фантастики, и притом фантастики вполне плодотворной. Науч-

ные гипотезы, разумеется, рождаются на основе уже известных фактов, но они же являются стимулом к поиску новых. Если новые факты подтвердят гипотезу, она обретает права теории. Если опровергнут ее и дадут основание новой гипотезе, эта новая гипотеза отберет у своей предшественницы факты, которыми та завладела, и старая гипотеза вернется в область фантастики. Между фантастикой и наукой отношения очень сложные, диалектические, и складывались они в разные эпохи по-разному.

Сейчас нами вполне признано опережение наукой практики. В конце XVIII и начале XIX века практика заметно опережала науку. XIX век был веком пара, но термодинамика появилась позже, чем паровые машины, паровые коляски и паровозы.

Научная фантастика отражала все изгибы отношений между наукой и практикой. Как целостный жанр она была порождена успехами конкретной техники прошлого века и приобрела все соответствующие этому качества. Очень долго научной фантастикой считали только фантастику сугубо конкретную — географическую, транспортную или ту, что мы сейчас низвели до положения «технической». Но постепенно, с убыстряющимся прогрессом науки, фантастика начала преобразовываться. От разработки деталей известного она все больше приходила к поискам принципиально нового и все больше оперировала общими вопросами науки. Осознан этот процесс был не сразу. Жюль Верн в конце жизни уже ставил принципиально новые проблемы, идущие вразрез с привычными физическими представлениями, и... критиковал Уэллса, отказывал ему в праве именоваться научным фантастом за то, что Уэллс с самого начала сделал это основным принципом своей работы. Да и сам Уэллс — как робко, с какими оговорками отстаивал он свое право быть причисленным к научным фантастам! Порою он даже отдавал в этом смысле предпочтение тем своим романам, в которых, по существу, повторял зады Жюль Верна, перед вещами, открывшими новый период в развитии научной фантастики.

Во времена Свифта отношения между наукой и практикой были особенно сложными. И его положение фантаста тоже было непростым.

Свифт в исключительной степени обладал очень редким и совершенно необходимым для фантаста качеством — спо-

способностью резко перейти пределы привычного. Его, как впоследствии Уэллса, неизменно притягивает к себе принципиально новое. (Недаром Уэллс, говоря о своих «нежюльверновских» романах, называл себя учеником Свифта.) Причем интерес к принципиально новому заставляет его иногда пренебречь своей установкой сатирика. Вот герой Свифта приходит в лапутянскую обсерваторию и беседует с астрономом, который сообщает ему, что при помощи нового телескопа жителям летающего острова удалось открыть в три раза больше звезд, чем известно англичанам (в этом месте, кстати говоря, Свифт обнаруживает неожиданную для «врага науки» осведомленность в состоянии астрономии: его ссылка на современный звездный атлас была проверена комментаторами и оказалась совершенно точной). Однако лапутяне, как известно, люди в практических делах ничего не смыслящие, и, если следовать арифметической логике свифтовской сатиры, здесь надо ждать описания какого-нибудь грандиозного телескопа — такого большого, что он представляет опасность для существования летающего острова. Ничуть не бывало. Телескоп, по словам Свифта, даже меньше наших. Очевидно, в нем использовано принципиально новое устройство.

Эту тягу Свифта к принципиально новому поддерживало сделанное при его жизни открытие Лейбница и Ньютона — людей, которых он презирал, ненавидел, высмеивал и которым против своей воли, как человек того же времени и той же меры гениальности, из раза в раз подчинялся. «Логическая машина» Лейбница была одним из тех гениальных «переходов предела привычного», которые составляли норму мышления для самого Свифта. Дифференциальное и интегральное исчисления, открытые Лейбницем и Ньютоном, были другим таким «переходом», ибо веку было свойственно логическое мышление по Аристотелю, а математический анализ нес в себе нечто иное. По словам Энгельса, с численным анализом в математику пришла диалектика. Ленин говорил, что поразительное сходство дифференциальных уравнений, описывающих разные явления, лишний раз свидетельствует о единстве природы.

Свифт поддавался обаянию подобных открытий и вместе с тем отмечал их. В них ему чудилось что-то подозрительно напоминающее отвлеченные умствования средневековых схоластов.

Когда Свифт говорит в «Путешествиях Гулливера» о своем высоком уважении к науке, он не лукавит. Он действительно ее ценит и знает. То же открытие спутников Марса сделано им отнюдь не потому, что он одарен «вторым зрением», а путем куда более прозаическим. Он обладает хорошим знанием астрономии.

О том, что, возможно, у Марса есть спутники, писал еще Фонтенель в книге «О множественности миров». Свифт решил, очевидно, проверить Фонтенеля при помощи третьего закона Кеплера, который, как известно, формулируется так: «Квадраты времен обращения планет вокруг Солнца относятся как кубы их средних расстояний от Солнца», — и проверка оказалась успешной. Если Свифт и несколько ошибся в цифрах, то не больше, чем ошибся бы на его месте любой астроном-теоретик его времени.

Но внимательно вчитавшись в соответствующее место из Свифта, можно извлечь из него нечто большее, нежели уверенность в научной осведомленности великого сатирика.

Почему, собственно говоря, Свифт, оперируя третьим законом Кеплера, ссылается не на творца этого закона, а на Ньютона, на теорию всемирного тяготения? Потому что проницательным философским складом умом во внутреннюю суть законов Кеплера. Почти столетие спустя другой философ, Гегель, показал, что ньютоновский закон тяготения уже содержится во всех трех законах Кеплера, а в третьем выражен особенно определенно.

Свифт не просто находится на уровне знаний своего времени. Кое в чем он способен опережать современные ему научные представления. Но право на такое опережение он не признает за другими и чужается этой способности в себе. Там, где мы видим в нем фантаста, он сам видит в себе только сатирика, измышляющего химерические предположения для того, чтобы их осмеять. Достойны, по его мнению, осмеяния любые гипотезы математиков, астрономов и прочих. Он ценит и знает науку. И поэтому хочет уберечь ее от многих опасностей. От тех прежде всего, которые на протяжении многих веков тормозили ее развитие.

Он был просветителем — врагом суеверий, и отвлеченное знание порой ассоциировалось для него с суеверием. Надо вспомнить, сколько вреда причинила науке схоластика, чтобы понять, как закономерна для Свифта подобная точка зрения.

Всего за сорок лет до рождения Свифта умер великий английский философ Фрэнсис Бэкон (1561—1626), который направил науку на путь опыта, и установки Бэкона сохраняют всю свою свежесть для Свифта. Одно из двух казалось рационалисту Свифту: либо знание, опирающееся на опыт и непосредственно применимое к практике, либо отвлеченность, которая сродни суеверию.

Мы понимаем теперь отрицательные стороны эмпиризма Бэкона. Он мешал постановке общих вопросов. Они были отданы на откуп схоластике. Наука еще не победила схоластику, а только обособилась от нее. Но для Свифта авторитет Бэкона был непререкаем.

Впрочем, тут-то и становится совершенно необъяснимой вражда Свифта к Ньютону. Ведь для Ньютона методологические установки Бэкона так же несомненны, как и для Свифта. Он так же верит в опыт и так же не доверяет гипотезе. Он вполне мог бы повторить знаменитые слова Лавуазье: «Гипотеза есть яд разума и чума философии; можно делать только те заключения и построения, которые непосредственно вытекают из опыта». Именно победа Ньютона над Декартом заставила пригвоздить к позорному столбу науки любую гипотезу. В чем же тогда Свифту подозревать Ньютона?

В очень существенном. В том, что высказывания Ньютона расходятся с его практикой. И здесь Свифт совершенно прав.

Суть методологических расхождений между Декартом и Ньютоном состоит отнюдь не в том, что первый высказал беспочвенную гипотезу, а второй опирался на факты и никуда от них не уходил. Согласимся — у Ньютона было больше фактов, хотя и Декарт не был так уже беспочвен, как может показаться с первого взгляда. Но они оба создавали гипотезы. Только гипотеза Декарта была неверна, гипотеза Ньютона — верна. Она поддавалась подтверждению на материале опыта. И тем не менее в момент своего появления это была гипотеза, и ей поразительно не доставало тех самых опытных данных, из которых, по мнению Ньютона, только и может исходить настоящий ученый. Понадобилась пятидесятилетняя работа Лапласа и других сторонников Ньютона для того, чтобы его гениальная гипотеза приобрела права научной теории в том смысле, в каком он сам это понимал, и чтобы умолкли голоса противников.

Свифту не надо было заниматься специальными исследованиями для того, чтобы ощутить изрядную долю гипотетичности в теории Ньютона. Именно в абсолютной гипотетичности с пеной у рта обвиняли Ньютона его противники на континенте. Об этом говорили повсюду. Молодой Вольтер очень остроумно и очень показательно для просветителя, боявшегося вторжения схоластики в только что освободившуюся от нее науку, сформулировал в 1727 году в «Английских письмах» суть расхождений между Декартом и Ньютоном. Для него один не лучше другого. «У картезианцев все достигается при помощи давления, что, по правде говоря, не вполне ясно, — писал он. — У ньютонианцев все объясняется при помощи притяжения, что, однако, немногим яснее» *. Для Свифта все это тоже «немногим яснее», и он яростно обрушивается на Ньютона. Но любопытно, что Ньютон — автор гипотезы — привлекает его внимание гораздо больше, чем мог бы привлечь Ньютон — верный бакопианец.

В лице Бэкона наука еще не победила схоластику, а только обособилась от нее. В лице Ньютона и Лейбница наука начала отвоевывать свое достоинство, и Свифт по-своему увлечен их борьбой. Он был, как уже говорилось, большим знатоком и любителем античности, а античная наука меньше всего была эмпирична. Напротив, она смыкалась с философией, даже со сказкой, и создавала своего рода «теоретический задел». Напрасно думают, что опережение наукой практики — исключительный признак XX века. Наука и практика всегда шли вперегонки с переменным успехом. И увлечение античностью помогало Свифту выискивать интересное и перспективное в опережающей науке его дней.

Но он тут же спохватывается. Он вспоминает, что достигнутое в античности было скомпрометировано в средние века. Был скомпрометирован сам принцип опережения. Что касается Ньютона, то его теории кажутся Свифту тем подозрительнее, что он знает о крайней религиозной ортодоксальности и нетерпимости — не будем говорить мракобесии — Ньютона. Это и превращает роман Свифта в своеобразную «антифантастику» по отношению к предшествующей фантастике-

* Очень показательно, впрочем, что вскоре после «Английских писем» Вольтер пишет в стихотворном послании к маркизе дю Шатле о величии Ньютона и становится его пропагандистом.

сказке. Тут уж Свифт не падит никого — даже своих учителей, античных авторов.

Впрочем, Свифт был не только замечательным автором парадоксов. Его «Путешествия Гулливера» — сами по себе явление парадоксальное. Как ни велик разоблачительный пыл Свифта, ахиллесовой пятой автора становится его гениальность. «Антифантастика» по отношению к предшествующей фантастике оказывается зерном — да нет, не зерном, а крепкими ростками — будущей научной фантастики. Ведь не кто иной, как Свифт, ввел в художественное произведение положения современной науки. И если сатира Свифта распространяется и на самую науку, это исторически объяснимое недоразумение не должно нас смущать. Новые литературные жанры нередко вызревают в пределах пародии. Сервантес хотел своим «Дон-Кихотом» погубить рыцарский роман, а вместо этого создал образец для романа в нашем понимании слова — с помощью своего ученика Генри Фильдинга, жившего сто лет спустя.

Свифт добился того же с помощью своего ученика Герберта Уэллса. Уэллса иногда называют Свифтом двадцатого века. Но, может быть, разумнее назвать Свифта Уэллсом восемнадцатого. Он создал научно-фантастический роман самого современного типа — роман о кардинальных поворотах в науке, роман, где научное и социальное связано неразрывно. Признать его научным фантастом долго мешало то, что даже современные романы такого типа мы отказывались признавать за научную фантастику, если просто не отказывались признавать за ними право на существование.

Правда, Свифт ограничен своим временем. Но не он один. И нам остается лишь согласиться с тем, что Свифт был научным фантастом. Великолепным. Достойным того, чтобы у него поучиться.

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции	5
<i>Паталья Соколова.</i> Захвати с собой улыбку на дорогу...	7
<i>Михаил Анчаров.</i> Сода-солнце	91
<i>Римма Казакова.</i> Эксперимент	147
<i>Герман Максимов.</i> Последний порог	156
<i>Натан Эйдельман.</i> Пра-пра...	168
<i>Всеволод Ревич.</i> Штурмовая неделя	199
<i>Юлий Казарлицкий.</i> Был ли Свифт научным фантастом?	209

Составитель *В. Ревич*.

ФАНТАСТИКА, 1965. Вып. III. М.,

«Молодая гвардия», 1965 г.

224 с.

(«Путешествия. Приключения. Фантастика»)

P2

Редакторы *Б. Клюева, А. Лобанова*

Художник *И. Снегур*

Худож. редактор *А. Степанова*

Техн. редактор *Н. Михайловская*

*

A10776. Подп. к печ. I/XII 1965 г.

Бум. 60×84¹/₁₆. Печ. л. 14 (13,02).

Уч.-изд. л. 12,5. Тираж 165 000 экз.

Заказ 1946. Цена 53 коп. СПХЛ 1965 г.,

№ 247.

*

Типография «Красное знамя»

изд-ва «Молодая гвардия», Москва, А-30,

Сущевская, 21.

53 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ